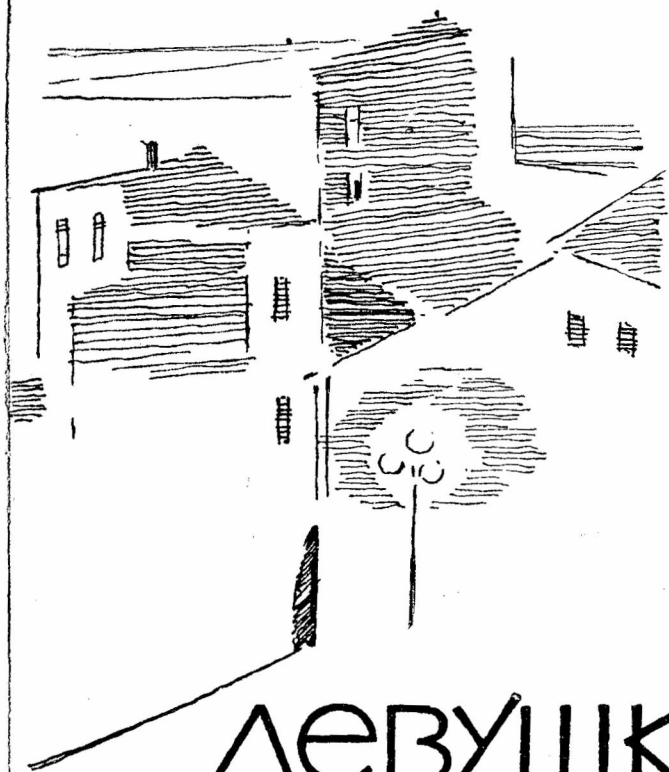


ДЕВУШКА МОЕГО ДРУГА

И. ДАВЫДОВ





И. ДАВЫДОВ

ДЕВУШКА МОЕГО ДРУГА

Рассказы

ПРИВОЛЖСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО САРАТОВ 1965

Девушка моего друга

I

Когда, приехав с вокзала, мы с мамой входим в нашу квартиру, в ней тихо, пусто, и посреди коридора сидит большая серая крыса. Она удивленно смотрит на нас черными глазами-бусинками, шевелит усами и неторопливо убегает в ванную.

Все комнаты открыты. Наши стулья почему-то оказываются в комнатах соседей, а всей остальной мебели нет. Видно, пропала.

Стекло в одном из окон вылетело — наверно, его выдавило при бомбежке взрывной волной. Кто-то забил окно листом железа. Хорошо еще, что мы вернулись из эвакуации летом, а то зимой из-за этого могли бы замерзнуть.

В первую же ночь крысы начисто съедают задники у моих ботинок, и утром приходится срочно бежать на толкучку, покупать на последние деньги другие ботинки и на ночь убирать их повыше.

За неделю мы с мамой приводим квартиру в порядок. Теперь в ней можно жить.

По вечерам я спускаю плотные синие бумажные шторы и старательно прижимаю их края к оконным рамам, чтобы снаружи не было видно ни полосочки света.

В первые дни мне это не всегда удается, и тогда к нам приходит дворничиха тетя Дуся, которая следит за светомаскировкой. Она ловко прижимает шторы к рамам и потом пьет у нас чай с сахарином.

Как-то вечером я встречаю на лестнице Лерку Хмелеву, которая живет у нас на пятом этаже. С ней мы до войны играли в прятки, в ножички, дрались и менялись фантиками. Словом, ту самую Лерку, без которой я не могу представить свое детство.

Лерка всегда была ниже меня, а сейчас она кажется мне особенно маленькой. Но, несмотря на это, я вдруг чувствую, что она уже взрослая. То ли в этом виновата ее пышная прическа, то ли ее модная шляпка, то ли бусы, выглядывающие из-под пальто, но она уже взрослая, а я все еще мальчишка и поэтому не могу назвать ее по-старому — Леркой.

Она начинает ахать, расспрашивает обо всем меня, рассказывает о себе. Месяц назад она вернулась из Фрунзе, где с начала войны жила в интернате, и уже успела поступить в студию при одном из небольших московских театров.

Неожиданно она спрашивает:

— Ты с Вовкой Малковым переписываешься?

И тут же почему-то краснеет.

Я отрицательно качаю головой: нет, я не переписываюсь с Вовкой, хотя мы с ним и были до войны друзьями. Не знаю уж почему, но я не переписывался во время эвакуации не только с Вовкой, который уехал на Урал, но и ни с кем из ребят нашего дома. Как-то не принято это у мальчишек, даже если они большие друзья.

— Жалко. — Лера вздыхает.

— А в чем дело?

— Я переписывалась с ним почти все время. Но последнее письмо пришло в интернат еще в начале лета, а здесь я ни одного не получала. Он писал, что его матери обещали пропуск в Москву...

— Хорошо бы! — говорю я и думаю: «Странно! Почему это Вовка с Леркой переписывался? Очень странно!»

Видимо, Лера понимает, о чем я думаю, потому что она снова густо краснеет и прощается.

— Ты заходи ко мне! — кричит она уже сверху, в пролет лестницы.

Но зайти к Лере я так и не смог. Вскоре у меня серьезно заболела мама, и врачи сказали, что это надолго — может, на год, а может, и на два. Мама дали пенсию, но такую маленькую, что жить на нее вдвоем совершенно

невозможно. И тогда я еду по совету ребят из соседнего двора на один из заводов и поступаю туда учеником токаря.

Когда я вечером говорю об этом, мама начинает плакать и спрашивает:

— А как же школа?

Я твердо обещаю, что буду учиться в школе рабочей молодежи.

И вот начинается жизнь, которая в первые недели, с непривычки, подавляет меня усталостью и систематическим недосыпанием. Я поднимаюсь в шесть часов утра, чтобы к восьми уже стоять возле токарного станка. А спать я ложусь в час или в половине второго, потому что в двенадцать у нас только кончаются занятия в школе.

Вначале мне кажется, что я этого не выдержу, и школу придется бросить. «Еще вот немножко позанимаюсь, — уговариваю я себя, — и все. Еще только немножко». Но проходит это «немножко», я назначаю себе другое, потом еще одно, а потом начинаю замечать, что устаю я уже не так, и в школе меньше хочется спать, и, пожалуй, как-нибудь можно дотянуть до каникул, а там отоспаться всласть...

В нашем доме постепенно становится все более шумно. Жильцы возвращаются из эвакуации один за другим. Как-то утром, убегая на завод, я вижу, что во дворе, возле подъезда, сгружают с подводы чемоданы и тюки Нинка Козина из соседней квартиры и ее мать. Через два дня, ночью, приезжают наши соседи по квартире, а в конце зимы возвращается с Урала Вовка Малков.

Лера еще за две недели говорит мне, что Вовка вот-вот придет в Москву, и я понимаю, что они продолжают переписываться. «С чего бы это? — снова думаю я. — Неужели они влюблены?»

Раньше эта мысль как-то просто не приходила мне в голову. Теперь же, когда у нас в школе рабочей молодежи все влюбляются друг в друга, я подумал, что, может, и у Леры с Вовкой — то же самое. Но когда это у них началось? Неужели еще до войны? Ведь до войны Вовка учился всего лишь в пятом классе. Правда, он всегда был самым красивым мальчишкой у нас во дворе...

Впрочем, ладно! Какое мне дело...

В первый же вечер, когда у меня в школе нет занятий, Вовка сидит у нас и рассказывает о жизни на Урале.

Вовка по-прежнему очень красивый. У него строгое, мужественное лицо, плотно сжатые губы, умные серые глаза и длинные, зачесанные назад золотистые волосы. Он как раз такой, какими рисуют на плакатах молодых рабочих. В жизни я таких ребят видел очень мало, но на плакатах все молодые рабочие почему-то именно такие, как Вовка.

— Ты что думаешь делать? — спрашиваю я его. — Айда к нам на завод!

— Я в техникум пойду, — говорит Вовка, лениво потягиваясь. — Я уже полгода проучился. У меня перевод есть.

Техникум, в который поступает Вовка, оказывается возле моего завода. И занятия там тоже начинаются в восемь часов. Поэтому по утрам мы с Вовкой обычно вместе ездим на метро. Изредка, когда Вовка задерживается в техникуме после занятий, мы встречаемся и на обратном пути.

Как-то мы возвращаемся вместе с ним домой и встречаем у наших ворот Женьку Сухова. Когда-то, еще до войны, коренастый, с квадратным лицом Женька был командармом «армии», созданной мальчишками в нашем дворе. Я был в этой «армии» комиссаром, а Вовка в нее вступить отказался, и с тех пор Женька Вовку невзлюбил и всегда говорил про него только плохое.

В войну Женька не уезжал из Москвы, работал слесарем и поэтому с презрением смотрел на всех, кто возвращался из эвакуации.

Сейчас он стоит, прислонившись к стене, перекрестив ноги, и с важным видом курит. Рядом с ним грызет семечки Алик Степанов. Он был в нашей «армии» единственным рядовым, а сейчас работает учеником в той же мастерской, что и Женька.

Сolidно, как младшему, Женька протягивает мне потемневшую, изъеденную металлом и машинным маслом руку. Я спокойно пожимаю ее своей рукой, которая к этому времени уже тоже изъедена и металлом и машинным маслом.

А у Вовки рука белая, тонкая, нерабочая, и Женька презрительно смотрит на нее.

— Вернулись, белоручки, на готовенькое, — сплюнув в сторону, цедит он сквозь зубы.

Вовка бледнеет и грозно надвигается на Женьку.

— Что ты сказал? Повтори!

От неожиданности Женька чуть робеет, но, взглянув на Алика, гордо выпячивает грудь.

— А что слышал. Вернулись, говорю, на готовенькое, трусы чертовы...

Вовка со всей силы бьет Женьку по одной щеке, и в ту же секунду я бью его по другой.

За спиной у Женьки стена. Поэтому он удерживается на ногах.

— Ах, так! — хрипит он. — Двое на одного!.. Алька, сюда!

И он бросается на Вовку.

Мы подрались и разошлись с синяками. Но больше никто из ребят нашего двора не рисковал оскорблять тех, кто вернулся из эвакуации.

2

— А мы, Семка, опять с Вовкой поссорились...

Лера Хмелева сидит около моего письменного стола и старательно складывает гармошкой листок бумаги.

В комнате полумрак — горит лишь настольная лампа. Холодно. У Леры на плечах зимнее пальто, у меня — ватная стеганка. На окнах по-прежнему синие шторы.

Мы с Лерой вдвоем. Мамы нет дома — уехала к тетке.

Я молча смотрю на черные Лерины кудряшки, на ее полные руки с короткими пальцами, и мне становится жалко ее. Я вижу, что ей по-настоящему тяжело, что она на самом деле любит Вовку. И я хорошо знаю, что Вовка тоже любит ее и тоже сейчас мучается. А вот ссорятся...

— Понимаешь, Семка, — рассказывает Лера, — вчера после репетиции один тип увязался меня провожать. Я и отказывалась, и гнала его, а он не отстает — и только. Идет рядом, балагурит, хохочет на всю улицу... Я уж с ним три раза прощалась: на Маяковской, на нашем углу и у ворот. А он попрощается и дальше идет. В подъезд забрался, стоит и не выпускает мою руку. Здо-

ровый — я перед ним цыпленок. А тут Вовка с улицы входит. Мне так неудобно стало — ты себе не представляешь. Сразу к нему: «Вова! Вова!» А он только меня глазами проколол — и бегом по лестнице. Не догонишь!.. Тип этот понял, наверно, ушел... А сегодня утром Вовка в техникум бежал, увидел меня впереди и спустился по черному ходу. В подъезде уж оттуда выскочил. Только спина передо мной мелькнула. И после техникума не зашел...

— Ничего, помириться, — успокаиваю я Леру.

— Нет, не помиримся. — Она отрицательно качает головой. — Теперь уже не помиримся. Он меня предупреждал: «Еще хоть раз с этими пижонами увижу — все!» Он так наших студийцев называет — пижонами. А что я могу сделать, если они липнут?

— Веди себя так, чтоб не липли! — жестко говорю я.

— Это легко сказать! — возражает Лера. — Какой-нибудь уродине это очень просто. А я ведь не уродина!

— Ей для этого не нужны усилия, — уточняю я. — А тебе нужны. Ради Вовки стоит их приложить.

— А!.. Теперь уже все равно. — Лера машет рукой. — Это навсегда!

— Ерунда! — Я досадливо морщусь. — Завтра же вы помиритесь. Только ты будь умнее. Плюнь на своих пижонов. Все они вместе взятые Вовки не стоят.

Я поднимаюсь и начинаю укладывать в сумку учебники и тетради. Через полчаса в школе занятия. Сегодня у меня на заводе выходной, а обычно после работы я успеваю только кое-как поесть, переодеться — и сразу в школу. Рассиживать некогда.

Работаю я все на том же заводе и даже на том же станке. Только уже не учеником, а токарем пятого разряда. Учусь уже в девятом классе. Недавно мне исполнилось шестнадцать лет, в милиции мне выдали вместо паспорта временное удостоверение и сказали, что скоро меня припишут к военкомату.

— И тогда можно будет на фронт? — спросил я.

Женщина в лейтенантских погонах, сидевшая за деревянным барьером, рассмеялась.

— Все вы, как удостоверение получаете, проситесь на фронт. Прямо удивительно!.. Далеко тебе еще, парень, до фронта! Война успеет кончиться...

Я не поверил женщине и пошел в военкомат сам.

Молодой лейтенант на протезе и с удивительно белым искусственным глазом поинтересовался:

— А может, ты в спецшколу пойдешь? До фронта тебе так-то далеко, а из спецшколы все ближе.

— Ничего не ближе, — возразил я. — Спецы только и делают, что на вечера в женские школы ходят. А мне некогда — я работаю и учусь.

— А где работаешь?

Я сказал.

Лейтенант присвистнул и покачал головой.

— Ну, тогда, паря, нечего тебе нам голову морочить. Жди, пока не вызовем. На своем заводе ты нужнее.

И теперь я все жду, что меня вызовут в военкомат на приписку, но меня почему-то не вызывают. А вот Вовку уже вызывали и выдали ему приписное свидетельство. Правда, Вовка на полгода старше меня. Может, поэтому...

Лера следит за тем, как я складываю книги в сумку, растягивает в руках бумажную гармошку и задумчиво говорит:

— Если мы помиримся, я уйду из студии. Буду учиться в школе. Как все. А потом поступлю в институт иностранных языков. Там, говорят, одни девочки. Ребят совсем нет. Вовке не к кому будет ревновать.

Я молчу. Такая жертва кажется мне чрезмерной. Но в конце концов — это же ради Вовки.

— Все равно большая актриса из меня не выйдет — это уже ясно, — а чем быть плохой артисткой, лучше стать хорошим педагогом. — Лера говорит тихо, и я чувствую, что она убеждает себя.

С лестницы кто-то стучит в квартирную дверь.

Я выхожу, открываю. За дверью стоит Вовка.

— Ты еще не ушел? Это здорово! — Он обрадованно жмет мне руку. — Понимаешь, чертовски нужна твоя готовальня. Дали детализировочный чертеж, да такой сложный... В общем, она у тебя свободна?

— Ради бога! — говорю я. — Заходи! Впрочем, постой минутку в коридоре. Я сейчас выскочу.

Не обращая внимания на удивленный взгляд Вовки, я оставляю его в коридоре, влетаю в комнату, кладу на стол готовальню, затем хватаю свою сумку с книгами.

Лера поднимается.

— Я пойду, Семка. Мне пора.

— Сиди! — Я почти насильно усаживаю ее обратно на стул. — Сиди! Я сейчас вернусь!

В коридоре, натягивая пальто и заматывая шею шарфом, я говорю Вовке:

— Готовальня на столе. Можешь работать у меня, пока мама не придет. Она придет поздно. Если ее не дождешься — ключ бросишь в почтовый ящик. А я — в школу.

Отдаю все еще удивленному Вовке ключ, вылетаю на лестницу и захлопываю дверь квартиры.

Спустившись на этаж, я жду минут пять — не откроется ли наша дверь. Если Вовка не захочет мириться, он, увидев Леру, сейчас же уйдет.

Но на лестнице тихо.

«Значит, мирится», — думаю я и убегаю в школу.

3

Проходит год.

Мама выздоравливает и снова начинает работать в своей больнице. Но я все равно не ухожу с завода. Я привык к нему, мне жаль с ним расставаться, и я знаю, что особые снаряды, детали для которых я вытачиваю, пока что очень нужны.

Учусь я уже в десятом классе, заниматься приходится много, и мне дорога каждая минута. Я читаю в поездах и на лестницах метро, в трамваях и троллейбусах. Умудряюсь читать даже на ходу, на улице. Я жалею время на все: на кино, на театры, на знакомых и родственников. Уже несколько месяцев не был ни у кого из своих родственников. А когда они приезжают к нам, сижу с ними для приличия полчаса, прощаюсь и ухожу заниматься в юношескую читальню на Садовой. Родственники обижаются, но я не обращаю на это внимания. Пусть обижаются, если им нравится. Я очень хорошо отношусь к ним, но мне некогда.

Однако порой я целыми вечерами ничего не делаю. Это случается, когда ко мне приходит Лера.

Она приходит в те дни, когда в школе рабочей молодежи нет занятий и я готовлю уроки. Она входит в комнату в наброшенном на плечи пальто и не снимает его, потому что у нас по-прежнему холодно.

Первое, что она делает, когда приходит ко мне, —

это смотрит на маленькие флажки, которые я передвигаю по карте Европы, что висит на стене, возле книжной полки. Флажки уже двигаются по Польше. Каждый день после салюта я передвигаю какой-нибудь флажок вперед. Иногда в день бывает два-три салюта, и тогда я передвигаю два-три флажка.

Лера такую карту достать не смогла и очень мне завидует.

О чем только мы не говорим в эти вечера — и о занятиях, и о своих учителях, и о книгах, и о театре и кино. О них, в основном, говорит Лера, потому что я бываю в кино и театрах редко. Но больше всего мы говорим о Вовке и о том, как он любит Леру, а Лера любит его. Она почему-то рассказывает мне даже такие детали их отношений, которые мне не хочется ни знать, ни слушать. Но я молчу, слушаю и не останавливаю Леру, потому что боюсь, как бы она не обиделась и не ушла. Я уже знаю, что, когда она уходит, мне почему-то становится очень пусто и очень тоскливо и совсем не хочется заниматься, а хочется идти на улицу и ходить, ходить без конца.

Лера, как и собиралась, ушла из театральной студии и учится сейчас в десятом классе женской школы, которая стоит на улице, параллельной нашей, как раз напротив моих окон. Однако, несмотря на то что из студии Лера ушла и «пижоны» ее больше не провожают, она продолжает ссориться с Вовкой, и очень часто, и каждый раз думает, что это — навсегда, что они больше не помирятся. Вовка во время ссор думает то же самое и даже рассказывает мне, как он, чтобы отвлечься, начинает «ухаживать» за какой-нибудь девчонкой в техникуме.

Я уверяю и Леру и Вовку, что ссора их — совсем не навсегда, что нечего им дурить, а надо мириться.

— Нет! Он меня совсем не любит! — Лера вздыхает. — Как это можно? Мы целую неделю не виделись, а вчера встретились на лестнице, и он только кивнул. Не остановился, не спросил, здорова ли я. Кивнул — и мимо. Разве это любовь?

У Вовки тоже «веская» причина.

— Веришь, Семка, — говорит он, — поднимается она вчера вечером мне навстречу по лестнице и такими ледяными глазами смотрит — ну как будто я дворник или

вот Смолин, который у нас канализацию чинит. У нее наверняка кто-нибудь есть! Разве она иначе смогла бы так?

И я говорю Вовке, что никого у Леры нет, я это твердо знаю, а Лере говорю, что Вовка хотел остановиться, да испугался ее ледяного взгляда.

А на другой день Лера влетает ко мне на минутку в те полчаса, когда я обедаю дома между заводом и школой, влетает, чтобы выпалить: «Мы с Вовкой помирились!» — и тут же убегает.

Я встаю из-за стола и провожаю ее. У дверей она неожиданно целует меня в щеку и говорит:

— Это тебе в благодарность, Семка. За то, что ты нас все время миришь.

Хлопает дверь. Я тупо гляжу на качающуюся цепочку и думаю, что уж лучше бы Лера меня совсем не целовала, чем вот так...

Возвращаюсь в комнату. На столе стынет суп. Доедать его мне почему-то не хочется.

Через месяц Вовка с Лерой ссорятся снова.

Лера сидит у меня в комнате вечером, кутается в пальто, нервно поправляет короткими, пухлыми пальцами потрепанную, подклеенную во многих местах синюю штору на окне и рассказывает:

— Видишь ли, Семка, мы, наверно, будем все время ссориться. Я не знаю, может, об этом не надо говорить, но, кроме тебя, сказать некому. Вовка требует от меня слишком многого... Больше, чем допустимо... Понимаешь?

Я опускаю глаза и молчу. Конечно, я понимаю. Наверно, я даже бледнею, потому что Лера с испугом смотрит на меня. В эту минуту я ненавижу Вовку, хотя мы с ним семь лет живем в одном доме и семь лет друзья. Его лицо, которое всегда казалось мне красивым, благородно-мужественным, сейчас кажется отвратительным, жестоким и холодным — лицом негодяя. Я, наверно, даже смог бы ударить его, если бы Вовка был рядом. Мне становится больно, очень больно, и я не знаю, что сделать, чтобы успокоить эту боль.

— Ну, что же ты молчишь, Семка? — спрашивает Лера. — Что же ты ничего не скажешь?

— А что я тебе могу сказать? — грубо отвечаю я. — Подумай, что на это можно сказать?

Я выдвигаю ящик письменного стола, достаю из его глубины пачку папирос и закуриваю. Курю я мало, только когда у меня плохое настроение. Мама мне курить не разрешает, и, если я это делаю, когда ее нет дома, я потом выношу окурки на улицу сам, чтобы мама случайно не увидела их в мусорном ведре.

Лера с удивлением смотрит на меня.

— Семка, ты куришь?

— Как видишь!

Она смотрит на меня внимательно и говорит:

— Тебе идет курить! Ты сразу становишься похожим на мужчину.

Меня коробит от ее слов. Мне до сих пор казалось, что я уже мужчина и мне незачем быть на него похожим. Но я молчу, не спорю. Да и о чем тут спорить?

На этот раз Лера с Вовкой не мирятся долго, очень долго. И я не мирю их.

Иногда случается так, что Лера заходит ко мне, когда у меня сидит Вовка, или Вовка заходит, когда у меня Лера. Они вежливо раскланиваются друг с другом, и тот, кто пришел последним, просит у меня учебник, или готовальню, или еще что-нибудь и тут же уходит.

Порой по вечерам, когда я возвращаюсь из школы, я вижу, что Леру провожают какие-то парни. Я в таких случаях делаю вид, что не замечаю их, не здороваюсь с Лерой и молча поднимаюсь по лестнице. И странно — в эти минуты мне обидно не за себя, а за Вовку, потому что я твердо знаю. Вовка намного лучше всех этих парней, и только неразборчивый человек может предпочесть их ему.

Как-то в выходной Вовка почти силой вытаскивает меня к себе в техникум на вечер. Я отказываюсь, говорю, что у меня много уроков, но он ничего не желает слушать и тащит меня с собой.

Зачем он это делает, я понимаю лишь потом, после плохого, неинтересного концерта. Когда начинаются танцы, Вовка знакомит меня с очень красивой, гораздо красивее Леры, девушкой, у которой звучное имя — Стелла. Он дает мне покружиться со Стеллой один вальс, а потом начинает с ней танцевать сам и уже не отходит от нее до конца вечера. А когда танцы кончаются, он одевает ее в гардеробе и прощается со мной.

— Я поеду провожать Стеллу, — говорит он, берет

ее под руку, что-то шепчет ей на ухо, и они уходят, прижавшись друг к другу.

Я смотрю им вслед, и мне почему-то жалко Вовку и жалко Стеллу. Я понимаю, что Вовка по-прежнему любит Леру, иначе ему незачем было так спешно тащить меня на этот вечер и знакомить со Стеллой. А Стелла наверняка ничего этого не знает, не понимает и думает, что Вовка относится к ней искренне. Когда-нибудь это кончится слезами, и горькими. Эх, Вовка, Вовка! Что ты делаешь!..

Я пытаюсь поговорить с Вовкой на другой день, но он холодно обрывает меня:

— Это, Семка, не твое дело. С Лерой у нас давно все кончено. У каждого теперь своя жизнь.

А Лера по-прежнему часто говорит о Вовке, расспрашивает о его делах. Я стараюсь рассказывать ей все меньше, перевожу разговор на другое, но она упорно возвращается к этой теме.

Как-то она встречает Вовку на улице со Стеллой и прибегает ко мне в слезах.

— Кто это? — требовательно спрашивает она. — Ты, Семка, должен знать, кто это!

Она описывает мне внешность Стеллы и вопросительно глядит в глаза.

— Ну?

Я с минуту думаю: говорить или не говорить. Потом все-таки решаюсь сказать:

— Это, наверно, Стелла. Она учится вместе с Вовкой.

— Ты ее знаешь?

— Один раз видел.

— Где?

— На вечере в техникуме.

— Когда это было?

— В позапрошлый выходной.

Лера стоит у окна, смотрит на свою школу, но мне кажется, что она видит не школу, а Вовку под руку со Стеллой, с красивой, стройной, золотоволосой Стеллой, у которой изумительная улыбка с ямочками на щеках, у которой какие-то удивительно глубокие, бездонные голубые глаза.

Она, наверно, сравнивает сейчас себя со Стеллой и думает о том, что сама она невысокая, полненькая, что

у нее пухлые руки с короткими пальцами и толстые, некрасивые ноги. И, конечно, она уверена, что Вовка теперь будет любить Стеллу, потому что Стелла красивее, потому что у нее словно точеные ножки, потому что она проводит с Вовкой в техникуме весь день, а Лера видит его все реже и реже и совсем не разговаривает с ним.

И наверняка в эту минуту Лера не понимает, что главное — не в ножках и не в ямочках на щеках, что есть что-то более важное, чем руки и волосы. Она хорошо понимает это, когда сравнивает с Вовкой других ребят, но, по-моему, не может сейчас применить ту же мерку к себе.

Мне страшно жалко ее. Невыносимо хочется ее приласкать, погладить, поцеловать — и не только потому, что мне ее жалко, а просто так, потому что она мне очень нравится, гораздо больше любой из девушек, которых я знаю. Но я не позволяю себе даже думать об этом. Лера любит моего друга, и это значит, что для меня на ней лежит «табу» на всю жизнь.

Лера вздыхает и поворачивается от окна ко мне. На ее глазах, изумительных, больших, темных глазах, которые кажутся мне сейчас самыми красивыми глазами на земле, блестят слезы.

— Слушай, Семка, — неожиданно деловито говорит она, подвигает стул к письменному столу и садится. — Ты мне друг?

Я пожимаю плечами.

— Что за вопрос? Конечно!

— Ты смог бы сделать для меня что-нибудь трудное?

— Все, что в моих силах.

— Ну, то, о чем я тебя попрошу, не потребует очень больших усилий. — Лера улыбается, но слезы все еще блестят у нее в уголках глаз. — Это нужно для меня, для моего счастья. Для нашего с Вовкой счастья. Понимаешь?

Я киваю и спрашиваю:

— А что я должен делать?

— Ты не должен делать почти ничего. Делать буду я. Ты только терпи.

— Что терпеть?

— Ну... — Лера замялась, — небольшую комедию, которую я разыграю. Понимаешь, Семка, у меня нет

больше ни одного друга, которому я могла бы так довериться. Для любого другого моего знакомого все это будет по-настоящему, а не игрой. А с тобой я могу быть совершенно спокойна. Ты свой в доску. Мне нужно, чтобы Вовка меня ревновал. Понимаешь? Безумно ревновал. Тогда он мой! Понимаешь?

Я понимаю. Я, наконец, все понимаю. У меня как-то странно холодеет в груди, и кажется, будто стул вместе со мной поднимается в воздух.

Я ничего не могу сказать. Только молча киваю: да, я согласен.

4

И вот уже мы с Лерой старательно изображаем влюбленных. В те вечера, когда я не иду в школу, Лера приходит ко мне заниматься и сидит у меня допоздна, до тех пор, пока не приходит с работы мама.

Но это еще не все.

Моя соседка по квартире Ольга Степановна — немолодая и очень злая женщина — страшная сплетница. Об этом хорошо знает весь дом. И именно этим Лера решила воспользоваться.

Муж Ольги Степановны продает театральные билеты в метро. И Лера заставляет меня покупать у него билеты и говорить ему, что я иду в театр с Лерой.

У меня не всегда есть время и деньги для того, чтобы ходить в театр. И, когда у меня нет времени, Лера идет по нашим билетам с сестрой или подругой. А когда у меня не хватает денег, Лера берет билеты, едет к началу спектакля, продает их и назавтра приносит деньги мне. Но она безусловно требует одного: чтобы в тот вечер, на который я взял билеты, меня дома не было. И, если в этот вечер у меня нет занятий в школе, я, подчиняясь Лере, ухожу в читальню и сижу там до закрытия.

Но иногда мы с Лерой все-таки попадаем в театр. И, когда после спектакля мы подходим к нашему дому, Лера начинает прижиматься щекой к моему рукаву. По лестнице она поднимается на свой пятый этаж очень медленно, останавливаясь на каждой площадке и не выпуская моей руки из своей. Она хочет, чтобы нас видело как можно больше жильцов, чтобы нас видел вместе Вовка.

И раза два он действительно видит нас, коротко здо-

ровается и пулей взлетает к своей квартире на четвертый этаж.

Однако и после этого все остается по-прежнему. И тогда Лера делает новый смелый шаг.

Как-то вечером, когда я выхожу проводить ее в коридор, она неожиданно целует меня возле выходных дверей, целует по-настоящему, в губы, как меня еще не целовала ни одна девушка. Целует, несмотря на то, что рядом, на кухне, жарит картошку Ольга Степановна.

У меня перехватывает дыхание, и я оторопело гляжу на Леру. Мне хочется, чтобы она целовала меня еще и еще, мне хочется самому целовать ее. Но я стою ровно, как столб, и только показываю глазами на кухню.

— Вот именно поэтому, — шепчет Лера, снова звонко целует меня и выбегает на лестницу.

После этого Вовка перестает заходить ко мне, на лестнице здоровается сквозь зубы и сразу же отводит глаза. Я понимаю, что Ольга Степановна все слыхала, все сказала ему, и говорю об этом Лере.

Она довольно улыбается и гладит мой рукав.

— Ты молодец, Семка. Еще немного. Скоро ты отмучаешься.

В один свободный от занятий вечер Лера забегают ко мне и просят:

— Семка, затащи к себе Вовку! Очень нужно! И удержи его на полчаса.

Мне неудобно и неприятно идти сейчас к Вовке, но я покорно встаю из-за письменного стола и натягиваю через голову спортивную рубашку.

Медленно поднимаясь на четвертый этаж, я соображаю, зачем можно было бы вытащить к себе Вовку, и наконец нахожу подходящий предлог. Недавно я придумал для своего токарного станка приспособление, которое позволяет втрое сократить машинное время на изготовление двух вкладышей. Приспособление у меня уже работает. Эскизы его чертежей я показывал начальнику цеха, он кое-что исправил там и попросил меня чертить их заново и более четко, чтобы передать в конструкторское бюро. До понедельника я эти эскизы должен сделать. Вот их-то и хорошо бы показать Вовке. Он ведь учится на техника по холодной обработке металлов. И ему неудобно будет отказать мне.

Вовка встречает меня холодно, даже сурово. У него

сдвинуты брови, слегка вздрагивают ноздри. Я знаю, что он думает сейчас о Лере, о том, что я оказался плохим, подлым другом. Поэтому, когда я говорю ему, зачем он мне нужен, у меня заплетается язык и получается что-то маловразумительное. Однако он понимает, что мне надо, и, заглянув в свою комнату, говорит бабушке:

— Я к Семке.

Мы молча спускаемся по лестнице.

Дома я усаживаю Вовку за стол, раскладываю перед ним эскизы и набрасываю на клочке бумаги вкладыши, которые мне приходится обрабатывать.

Вовка берет карандаш и начинает разбираться.

Он смотрит эскизы молча, ставит возле некоторых размеров маленькие вопросительные знаки, и мне начинает казаться, что приспособление ему не нравится. Неужели какая-нибудь ерунда? Но ведь оно же работает, и начальник цеха его смотрел... Я даже на какое-то время забываю, что привел к себе Вовку совсем не из-за этого приспособления, а из-за Леры.

— Это не ново, — вдруг говорит Вовка. — Такое приспособление уже было описано в каком-то журнале. Я вот только не помню, в каком. Но это можно найти. Мне кажется, что вот здесь, — он показывает на эскиз, — у тебя слишком массивная стенка. Тут такая толщина не нужна — нагрузка-то маленькая. Я на той неделе разыщу этот журнал и покажу тебе, как там. Но вообще-то здорово, что ты это сообразил. Там была статья инженера. А у тебя ведь только пятый разряд?

Я киваю. Да, у меня только пятый разряд.

В комнату быстро стучат. По стуку я узнаю Леру.

— Да-да, — говорю я.

Лера входит и протягивает мне книгу.

— Вот твоя история, Семка. Спасибо.

Потом она вдруг замечает Вовку (до чего же искренне у нее получается это «вдруг!»), здоровается с ним и спокойно, даже как-то озабоченно говорит:

— Очень хорошо, что ты здесь. У меня к тебе важное дело. Но я спешу. Ты сможешь проводить меня до метро?

— Смогу, — жестко произносит Вовка.

— Хорошо. Тогда быстренько поднимись, оденься, я тебя подожду здесь.

Вовка извиняющимся взглядом глядит на меня и

разводит руками: мол, видишь, есть дела поважнее твоего приспособления.

Я толкаю его к двери.

— Давай быстрее. Эскизы потом посмотрим.

Вовка выходит.

Лера прижимает руки к груди и испуганно глядит на меня.

— Ну, Семка, пожелай мне ни пуха ни пера.

— Желаю.

Лера тихо шепчет: «Иди к черту!» — и улыбается.

Я отворачиваюсь к столу и начинаю собирать эскизы. Возьмусь за них в выходной. Сейчас надо делать тригонометрию.

В дверь стучит Вовка.

Лера прощается со мной и выходит. Хлопает квартирная дверь, тихо позвякивая, качается цепочка, на лестнице, постепенно удаляясь, слышится голос Леры.

Я возвращаюсь в комнату, сажусь за тригонометрию и долго ничего не могу сообразить. Потом понемногу начинаю вдумываться, но задачи у меня все равно не получаются. Я бросаю их и ухожу на улицу.

На другой день, когда я торопливо обедаю дома, ко мне входит Вовка, крепко сжимает мою руку и садится на подоконник.

— Мне Лера все рассказала, — говорит он. — Всю вашу комедию. Спасибо, Семка. Все-таки помирил нас. Мы, наверно, скоро поженимся. Вот кончу техникум, и поженимся.

Техникум Вовка кончит через год.

— А как же Стелла? — спрашиваю я.

— Стелла — это так... — Вовка морщится. — Чтобы позлить Леру.

— Тебе — так, — не унимаюсь я. — А ей какво? Она ведь не кукла.

— Ну, что ж делать, Семка? — Вовка слезает с подоконника и кладет мне на плечи руки. — Что же делать? Вчера было плохо мне, завтра — ее очередь. Видно, так уж устроена жизнь.

Я думаю о том, что, если бы у Леры не было под боком меня, она могла бы какому-нибудь парню закрутить голову так же, как Вовка Стелле. Неужели иначе нельзя? Неужели жизнь действительно устроена так, что то-то всегда должен страдать?

Мне не хочется, мне страшно не хочется верить, что жизнь устроена именно так. Я не буду мириться с этим. И мне не нравится, что Вовка говорит об этом так спокойно. Жизнь должна быть устроена так, чтобы все были счастливы.

5

Проходит еще год.

В Москве — весна. Первая послевоенная весна, когда люди уже забывают о светомаскировке, когда то тут, то там начинают восстанавливаться разрушенные при бомбежках дома и асфальтироваться новые кварталы, когда по улицам проносится необычайно много трофейных машин самых различных марок, когда на улице Горького начинают заменять железные абажуры военных лет яркими матовыми фонарями.

В коммерческих магазинах продают уже почти все, даже апельсины, а по карточкам иждивенцы все еще получают по триста граммов хлеба в день.

Я давно ушел с завода и учусь в институте — в маленьком институте на Садовом кольце, который готовит полиграфистов.

Лера — тоже в институте. Она, как и обещала когда-то, специально выбрала институт иностранных языков, потому что там почти одни девушки и Вовке не к кому будет ее ревновать.

Вовка кончает свой техникум, готовит диплом. Тема его диплома — автоматическая линия станков, изготавливающая одну деталь без прикосновения рук человека. В те годы — это новинка, и Вовку консультируют не только преподаватели его техникума, но и один профессор из Высшего технического училища имени Баумана и начальник цеха одного из крупнейших московских заводов. Этот начальник собирается взять Вовку на работу в свой цех.

Кажется, Вовка, действительно, делает что-то очень интересное, очень нужное. В техникуме о его дипломе много шумят и спорят.

С Лерой он теперь, наверно, не ссорится, а если и ссорится, то я об этом не знаю — мне не говорят. И потому, что они теперь не ссорятся, потому, что оба они, и Вовка и Лера, какие-то сосредоточенные, серьезные и спокойные, а не измученные взаимными подозрениями

и ревностью, как раньше, мне понятно, что в их отношениях изменилось что-то очень важное.

Когда я впервые это понял, еще в конце прошлого лета, мне стало больно, по-настоящему больно. Я несколько дней не мог ничего читать и после работы (я тогда последние дни работал на заводе) уезжал в какой-нибудь парк и ходил там до тех пор, пока у меня не начинали смыкаться глаза и заплетаться ноги.

С Лерой в эти дни я старался не разговаривать, и если встречал ее во дворе или на лестнице, то делал страшно озабоченное лицо, торопливо здоровался и уходил.

Потом я постепенно привык к этой боли, стал меньше замечать ее, а тут начались занятия в институте, появились новые заботы, новые знакомства, и уже через месяц я спокойно думал о Лере и Вовке и даже снова стал разговаривать с Лерой. Она, как и раньше, заходит теперь ко мне за учебниками и держится спокойно, с достоинством, как старшая.

С Вовкой мы по-прежнему друзья. Он часто заходит ко мне, а я к нему. Когда Лера занята, я привожу Вовку на наши институтские вечера, знакомя его с нашими ребятами, и мне приятно, что у меня такой умный и красивый друг, который нравится всем нашим студентам и особенно девушкам.

О том, что Лера и Вовка собираются пожениться, знает уже, кажется, весь наш пятиэтажный дом. Мне даже один раз пришлось услышать, как дворничиха тетя Дуся обсуждала с лифтершей вопрос о том, где они будут жить, когда поженятся, — у Леры или у Вовки.

Но не все говорят об этом так спокойно и доброжелательно. Однажды, возвращаясь вечером из читальни, я услышал, как Женька Сухов говорил ребятам на лестничной площадке о Лере и Вовке грязно, похабно.

Я тогда подошел к Женьке и сказал:

— Ты не имеешь права так говорить о Лере. Это скотство. Я запрещаю тебе так говорить о ней.

— А кто ты такой, чтобы мне запрещать? — Женька, прищурившись, нагло ухмыльнулся. — И какое тебе до нее дело? Или тоже пользуешься?..

Вначале я хлестал по Женькиному лицу ладонями. Потом мне этого показалось мало, и я стал месить его

кулаками. Женька упал. Ребята оттащили меня, силой довели до моей квартиры и втолкнули в дверь...

Иногда к Вовке приезжает его товарищ по техникуму Славка, скромный, очень мило улыбающийся парень в очках, который может часами читать на память Есенина, Багрицкого и Блока. Порой вместе с Вовкой Славка заходит ко мне, и мы идем гулять, втроем или даже вчетвером — с Лерой.

В Славке мне нравится все, кроме одного, — его слишком откровенного внимания к Лере. Он все время старается быть возле нее, читает стихи только тогда, когда она с нами, он даже несколько раз приглашает ее в кино, и они уходят вдвоем, без Вовки. Мне и то обидно, а Вовке, кажется, все равно — он шутит, смеется и совершенно не обращает на это внимания.

Я как-то не выдерживаю и спрашиваю его:

— Тебе не кажется, что Славка слишком любезен с Лерой?

— Кажется, — невозмутимо отвечает Вовка.

— Почему же ты так спокойно к этому относишься?

— Видишь ли, Семка... Мы с Лерой после защиты диплома собираемся пожениться. И если она способна увлечься Славкой, то пусть лучше это будет сейчас, чем потом. Потом это может быть страшно. Особенно, если будут дети.

Вовка хмурится и отворачивается к окну. Я смотрю на него и удивляюсь: насколько он все-таки старше, взрослее меня, хотя мы с ним почти одногодки. Я не всегда бываю с ним согласен, но все же мне кажется, что он умеет думать о жизни серьезнее и глубже, чем я.

В общем, так вот и идет наша жизнь до того дня, когда однажды Вовка не заходит ко мне и полушутя не спрашивает:

— Скажи, Семка, с какой стороны у человека аппендикс?

— Понятия не имею, — отвечаю я. — А ты что — решил заняться анатомией?

— Нет, мне некогда заниматься анатомией. У меня что-то с правой стороны болит. — Он показывает на низ живота. — Вот тут. Ты спроси вечером у матери. Ладно?

— Ладно. Спрошу.

Вовка уходит.

Вечером мама говорит мне, что аппендикс — с правой стороны и что, когда он болит, надо класть лед и вызывать врача. Сама она помочь в этом случае не может — она глазник.

Я бегу к Вовке. Аппендикс у него болит еще сильнее. Вовка уже не может заниматься, лежит на диване с грелкой и жалуется, что она не помогает.

— Дай сюда грелку! — требую я.

— Возьми ради бога! — Вовка охотно отдает ее мне. — Все равно толку от нее ни на грош.

Я выливаю из грелки кипяток, наполняю ее холодной водой из крана и приношу в комнату.

— Вот теперь клади. А я побегу за льдом и вызову врача.

— Да брось ты, Семка! — Вовка морщится. — Какого, к черту, врача! Поболит — пройдет.

— Мама сказала, что нужно вызвать врача.

— Ну, мало ли что сказала твоя мама. Я свою-то не всегда слушаюсь. Ты лучше Леру позови.

— Хорошо, — обещаю я и ухожу.

Леры дома нет. Я оставляю ей записку и бегу в аптеку.

Из первого же автомата я вызываю к Вовке врача, а уже через двадцать минут взлетаю на четвертый этаж с пузырем льда в руках.

— Где Лера? — спрашивает Вовка.

— Ее нет дома. Я оставил записку.

Врач — высокий хмурый мужчина — приходит минут через десять после меня. Он щупает Вовку справа, слева и мрачно произносит:

— У вас аппендицит. Вот направление. — Он быстро, почти одним росчерком пишет маленькую бумажку. — Я пришлю за вами скорую помощь.

— А это обязательно, доктор? — спрашивает Вовка.

— Что обязательно?

— Ну, в больницу...

— Если хотите жить — совершенно обязательно.

— Хочу, доктор. — Вовка кивает и просит: — Семка, собери мне быстренько в портфель мыло, зубную щетку, порошок и «Автоматику». Вон там, на столе, толстая лежит. Да, сунь еще первый томик Метерлинка. Он у меня на очереди...

Врач уходит. Я провожаю его до дверей на лестницу, потом собираю все, что нужно, и сажусь возле Вовки.

— Наверно, операция будет, — тихо говорит он.

— Наверно, — соглашаюсь я. — Говорят, это самая легкая операция.

— Да черт с ней! — Вовка машет рукой. — Пусть бы тяжелая была! Только быстрее! Диплом ведь, Семка! Каждый день дорог! А тут лежи, плюй в потолок... Эх!

Приходит с работы Вовкина мать и, узнав, в чем дело, сразу начинает волноваться и суетиться. Мы успокаиваем ее, как можем.

Леры все нет.

Мы встречаем ее уже тогда, когда за Вовкой приезжает скорая помощь и я вместе с санитарями помогаю ему спускаться вниз. Лера бежит нам навстречу по лестнице, вдруг видит Вовку, людей в белых халатах, бледнеет и прижимает руки к груди.

— Вова, что с тобой? — почти кричит она.

— Не волнуйся, чепуха. — Вовка через силу улыбается. — Аппендицит. Через неделю вернусь.

В машине скорой помощи, кроме санитаров и Вовки, умещаются только двое — Вовкина мать и Лера. Мне приходится остаться.

На другой день я убегаю со второй лекции и иду в институт Склифосовского узнать, что с Вовкой.

Какая-то удивительно спокойная, невзрачная женщина за окошечком говорит мне, что больной Малков прооперирован, операция прошла удовлетворительно, состояние тоже удовлетворительное.

— Увидеть его можно?

— Нет. Свидания только по воскресеньям.

— Что ему можно принести?

— Пока — только фрукты. Все остальное у него есть.

После занятий я еду в Елисеевский магазин — лучший коммерческий магазин в Москве — и покупаю там два больших антоновских яблока. Они стоят безумно дорого, эти яблоки. На них уходят все деньги, которые мама оставила мне на карманные расходы до следующей стипендии.

Как драгоценность, я везу эти яблоки в институт Склифосовского и протягиваю в окошечко равнодушной, невзрачной женщине.

— Записка будет? — сухо спрашивает она.

— Сейчас.

Я вырываю из тетради лист и пишу записку.

— Ответа ждать будете?

— Буду.

Женщина отдает кому-то яблоки и записку, и их уносят.

Я жду долго, почти полчаса. Наконец мне приносят мой же тетрадный листок, на обороте которого корявыми, шатающимися буквами написано:

«Семка, спасибо. Скажи Лере, чтоб приехала обязательно. Между нами — мне паршиво. Кажется, во время операции прорвался гной. Спроси у матери, чем это пахнет. В.».

Прямо из вестибюля института звоню на работу маме, но мне говорят, что она на обходе и к телефону в это время не зовут.

После обеда я выбегаю на угол и из автомата звоню еще раз. Мне говорят, что мама на операции.

Вечером, когда мама, наконец, приходит домой, я спрашиваю, чем пахнет, если во время операции аппендицита прорывается гной.

— Перитонитом, — говорит мама.

— А что это такое?

— Воспаление брюшины. Это очень опасно. А у кого это?

— У Вовки.

Мама начинает волноваться:

— Это плохо, Семочка. Это очень плохо. Я посоветуюсь завтра с нашими хирургами.

На следующий вечер мама приходит раньше обычного.

— Я специально отпросилась, — говорит она. — Скажи Вовиной маме, что помочь может пенициллин. Это новое средство. Импортное. Его страшно трудно достать, и оно стоит очень дорого. Но, говорят, оно делает чудеса. У нас его достать невозможно. Кажется, у главврача есть какой-то крошечный запас, но он о нем даже не позволяет говорить. Вот если она где-нибудь раздобудет...

Я бегу к Вовкиной матери. Она, выслушав меня, одевается и уходит куда-то звонить.

Через два дня ей удается, наконец, достать пенициллин. Но, кажется, он уже бесполезен.

В этот день Лера вбегает ко мне растрепанная, страшная. На белом, совершенно белом ее лице, как угольки, чернеют широко раскрытые глаза.

Я замечаю, что у Леры перекручен чулок, и это почему-то пугает меня больше ее бледности. Ведь Лера всегда так безжалостно-жестко высмеивала женщин, которые не следят за своими чулками...

— Семка, — задыхаясь говорит она. — Вовкиных родных вызвали в больницу. Мне соседи сказали...

— Едем, — отвечаю я. — Подойди к зеркалу, приведи себя в порядок.

Я выхожу из комнаты, закрываю дверь и надеваю в коридоре пальто. Когда я возвращаюсь, Лера причесана, у нее подкрашены губы, и это еще сильнее подчеркивает ее бледность, но чулок у нее по-прежнему перекручен. Мне неудобно говорить ей об этом, и я киваю на дверь.

— Пошли.

Мы почти бежим к троллейбусу, потом пересаживаемся на другой. У Леры какие-то странные, возбужденно-испуганные глаза. А я все время невольно смотрю на окружающих и думаю: замечают они или нет, что у Леры перекручен чулок. Кажется, никто, кроме меня, этого не замечает. Люди глядят в окна, в газеты, в книги, разговаривают, и никому до нас нет дела.

В институте Склифосовского нам безоговорочно выписывают пропуски и выдают халаты, хотя сегодня и не приемный день. И по этому я чувствую, что дело плохо, очень плохо. Я бегу за Лерой по узким и длинным коридорам, слышу стоны и крик больные в палатах, и мне становится жутко.

В маленькой палате, куда вбегает Лера, — четыре кровати. Возле одной из них я вижу мать и бабушку Вовки. А на кровати... Боже, неужели это Вовка?! Ужасно худой, с обтянутым темным лицом, с выпирающим, острым носом, с провалившимися, страшными глазами, которые, кажется, ничего не видят, кроме какой-то одной точки на потолке.

Приходит сестра. Делает ему укол. Пенициллин. Тот самый пенициллин, который теперь уже, видимо, бесполезен. После укола Вовка вдруг вскакивает, машет руками и дико, безобразно ругается. Я за всю жизнь ни разу не слышал, чтобы он так ругался.

Его укладывают обратно в постель.

Сестра, которая делала ему укол, поворачивается ко мне и тихо произносит:

— Агония.

Какое это страшное, безнадежное, черное слово! Я только тут впервые понимаю его ужасное значение.

У Вовкиной матери красные, измученные, заплаканные глаза. Она сидит, бессильно опустив руки на колени, и неотрывно смотрит на Вовку. Бабушка его тихо плачет, скривив рот и вытирая глаза белым, в горошек, платком, который она при мне сняла с головы. Лера стоит молча, раскрыв от испуга рот и прижав своим обычным жестом руки к груди.

Я все еще не верю. Мне кажется, что это — страшный, какой-то немислимо страшный сон, который вот-вот кончится, который не может продолжаться долго.

Но сон не кончается. Он становится еще более страшным.

Вовка вдруг приходит в себя, узнает мать, Леру, бабушку. Меня он не видит, потому что я стою у него в изголовье. Но мне кажется, что ему и не нужно видеть сейчас меня. Ему нужны люди более близкие.

Он протягивает губы и тихо просит:

— Лера, поцелуй меня.

Лера присаживается на кровать, целует его в губы, в лоб, гладит его волосы.

— Мы поженимся, Лера, — говорит Вовка.

— Да, конечно. — Лера кивает. — Поженимся.

И она находит в себе силы улыбнуться.

Мне страшно. Мне так страшно, что я не выдерживаю и выхожу в коридор.

Когда я возвращаюсь, Вовка уже опять никого не узнает.

...И вот все кончено. Бабушка деловито закрывает ему глаза пальцами, складывает его руки на груди и пристраивает между ними снятый с себя железный крестик.

Мне не нравится этот крестик. Я думаю о том, что Вовка был комсомольцем и собирался вступать в партию, о том, что мы с Лерой — тоже комсомольцы и нам нужно было бы убрать этот крестик с Вовкиной груди. Но какая-то непонятная сила удерживает меня, сковывает движения, язык. Я ничего не делаю и ничего не говорю.

Мы медленно выходим на улицу. На улицу, которая

дышит весной, светом, радостью пробуждающейся природы, шепотом вечерних свиданий. Я тяжело, устало отмечаю про себя, что ничего этого Вовка уже никогда не увидит.

Неожиданно я вспоминаю, что вчера из-за полного безденежья снес в букинистический магазин сочинения Надсона, и теперь у меня в кармане почти полная сотня. Я поднимаю руку и останавливаю такси. Это первое в моей жизни такси, которое я останавливаю сам и в котором поеду на свои деньги.

Мы молча садимся в машину и минут через пятнадцать так же молча вылезаем из нее возле своего дома. Мы с Лерой заходим к Вовке и с полчаса молча сидим в его комнате и глядим в пол. Мне очень хочется курить, но папиросы у меня дома, в столе.

Я вдруг вспоминаю, что на столе остался незаконспектированный и даже непрочитанный материал по языкознанию. Завтра семинар, и я к нему не готов. Но в конце концов черт с ним, с этим семинаром и со всем языкознанием вместе! Есть на земле вещи поважнее, чем классификация индоевропейских языков.

Лера поднимается первая. Мы тихо выходим в коридор. Я иду проводить ее до квартиры. И когда она поднимается впереди меня по лестнице, я вдруг замечаю, что чулок у нее все еще перекручен.

На другой день рано утром ко мне заходит Славка. Нужно ехать за Вовкиными вещами. Я стучусь в соседнюю квартиру, где есть телефон, звоню своему декану, говорю, что у меня умер друг и я не смогу приехать на занятия. Потом говорю Славке:

— Я готов.

— Надо зайти за Лерой. — Славка вынимает из кармана платок и тщательно протирает очки.

— Зачем нам Лера? — спрашиваю я.

— Надо.

Славка не объясняет и молча поднимается наверх. Я иду за ним.

На улице Славка покупает Лере букетик подснежников, и меня коробит от этого: как он может думать сейчас о цветах?

Санитарка выносит нам большой узел, завязанный в белую простыню, и потертый Вовкин портфель. Славка сразу хватается за узел. Портфель достается мне.

Славка берет Леру под руку, и мы выходим на улицу. Он все время говорит, говорит об обычных вещах, о которых мы говорим каждый день: о погоде, о преподавателях, о новых фильмах и книгах. Он даже читает на память какие-то стихи.

Я понимаю, что он делает это специально, что он старается отвлечь Леру от мыслей о Вовке, но все-таки мне это неприятно. По-моему, от этих мыслей ее все равно не отвлечь, и делать это сейчас не нужно. Да Лера, кажется мне, и не слушает его.

В троллейбусе Славка по-прежнему держит Леру под руку, а узел с Вовкиной одеждой опускает на пол.

Когда я вижу этот узел на грязном полу троллейбуса, у меня вдруг поднимается необъяснимая волна злости и на Славку, которому, видно, не дорога память друга, и на Леру, ничего этого не замечающую.

Я грубо выхватываю у Славки узел с вещами и прижимаю его к груди. Славка удивленно смотрит на меня близорукими серыми глазами, которые через очки кажутся очень большими, и, не сказав ни слова, отворачивается к Лере.

От троллейбуса я уже иду сзади них и несу в одной руке портфель, а в другой — узел. Славка два раза просит у меня что-нибудь, но я ему ничего не даю и смотрю на него волком.

А Лера ничего не замечает, деревянно идет впереди, неподвижно смотрит перед собой и кусает лепестки подснежников.

6

— А кто вы ему будете? — спрашивает меня профессор.

— Друг, — отвечаю я.

Мы сидим с низеньким — гораздо ниже меня — и очень подвижным профессором в пустой аудитории и говорим о Вовкиной дипломной работе. Я приехал сюда, в Высшее техническое училище имени Баумана, чтобы просить профессора продолжать по этой работе консультации. Кажется, он готов согласиться...

Мы с Лерой нашли черновик Вовкиной дипломной работы у него дома, в столе. Мы решили переписать его и показать в редакциях. Может быть, эту работу удастся опубликовать? Ведь Вовка говорил, что она почти закон-

чена. Он делал что-то стоящее, что-то очень нужное людям. Его мысли не должны погибнуть вместе с ним.

Мы раздобыли в одной из квартир нашего дома старую, разбитую пишущую машинку и медленно, по очереди, перепечатывали на ней страницу за страницей Вовкин черновик. Иногда мы спорили и даже чуть не ссорились из-за какого-нибудь неразборчиво написанного слова, которое каждый из нас расшифровывал по-своему. В конце концов мы все перепечатали, все проверили, и вот теперь нужно показать работу специалисту.

Профессор соглашается посмотреть работу, обещает сказать свое мнение через неделю, и я протягиваю ему тоненькую зеленую папку.

Через неделю мы приезжаем к профессору вместе с Лерой, встречаем его в коридоре и не успеваем поздороваться, как Леру обхватывает сзади какая-то полная, краснощекая девушка, почти визжит: «Лерка! Сколько лет, сколько зим!» — и оттаскивает ее в сторону.

— Это ваша девушка? — профессор едва заметно улыбается.

— Нет. — Я отрицательно качаю головой. — Это девушка моего друга, Владимира Малкова.

— А-а-а, — уже почтительно тянет профессор. — И она что — тоже заботится об этой работе?

— Да, профессор. Мы ее вместе разбирали и перепечатывали.

— Похвально. — Профессор слегка кивает.

Расцеловавшись с полной, краснощекой девушкой, к нам возвращается Лера.

— Мы вместе были в интернате, в эвакуации, — как бы извиняясь, говорит она.

Профессор ведет нас в помещение своей кафедры, достает из шкафа тонкую зеленую папку и, протягивая ее мне, произносит:

— Работа вашего друга, бесспорно, очень интересна и может быть полезной. В ней, правда, есть немного неточностей, не хватает четких выводов, но это я, пожалуй, мог бы сделать. Мне только не нравится язык работы. Он какой-то тяжеловатый и... неотшлифованный...

— А это могу сделать я, — прерываю я профессора.

Он с удивлением приподнимает брови, и я понимаю, что нужно сказать ему что-то еще, чем-то подтвердить это свое обещание.

— Я учусь на редакторском факультете, — добавляю я.

— О! — Профессор поднимает указательный палец. — Это как раз то, что надо. Тогда я берусь показать работу вашего друга в редакциях сам.

В конце мая, перед весенней сессией, я привожу профессору выправленную и заново перепечатанную Вовкину работу с хрустящими, красивыми чертежами, которые вычертили по сохранившимся эскизам ребята из Вовкиного техникума. А еще через две недели, позвонив профессору по телефону, я узнаю, что работа будет опубликована в сокращенном виде в августовском номере нового технического бюллетеня.

...Наступает лето. В нынешнем году оно у меня какое-то странное — сладкое и мучительное. У меня еще никогда такого не было.

Я сдаю экзамены за первый курс. Каждый день я занимаюсь с утра и до вечера, занимаюсь так усердно, что голова к концу дня становится свинцовой. А вечером ко мне приходит Лера, и мы идем с ней или в парк, или в кино, или просто бродить по улицам.

У Леры тоже экзамены, и она тоже занимается целый день. Несколько раз мы пробовали заниматься вместе, но у нас ничего не получалось — мы слишком много разговаривали. Поэтому мы и решили встречаться только по вечерам.

И вот мы идем по улице Горького, выходим на Ленинградское шоссе, и Лера гладит на нем кустики и вспоминает:

— Вовка больше всего любил гулять здесь. Он здесь зимой даже на лыжах бегал.

Мы идем в кино «Москва» на Маяковской, и Лера тихо произносит:

— Вовка считал, что это по акустике один из лучших кинозалов Москвы.

Мы едем в Парк культуры и отдыха, заходим в Нескучный сад, бродим по его горкам, сидим на простых зеленых скамейках без спинок, снова ходим, и Лера вздыхает:

— Вовка здесь всегда целовал меня. Он говорил, что Нескучный сад потому так и называется, что сюда ходят целоваться.

Она долго молчит, потом неожиданно просит:

— Семка, я закрою глаза, а ты поцелуй меня. Крепко. Как Вовка.

Я с раздражением пинаю ногой камень, слежу, как он катится по траве под гору, и говорю:

— Не могу, Лера.

Она останавливается, жалобно глядит мне в глаза.

— Ну, что тебе стоит, Семка?

Да, конечно, ей кажется, что мне ничего не стоит поцеловать ее так, как целовал Вовка! Ну, что ж... Если она думает, что мне это ничего не стоит, пусть будет, как она хочет...

Я обнимаю и целую ее — крепко и долго, так крепко и долго, как Вовка, наверно, ее никогда не целовал.

Когда я отпускаю ее, она, все еще с закрытыми глазами, отворачивается от меня, счастливо улыбается и шумно вздыхает.

Потом мы бродим по берегу Москвы-реки, и Лера тихонько напевает:

О Париж, край забав...

Это одна из любимых вещей Вовки. Он вообще очень любил оперетту.

— А ты не видишь Славку? — неожиданно спрашивает Лера.

— Нет, а ты?

— Я его тоже давно не вижу. — Лера прищуривается. — Знаешь, он тогда... ну, после всего этого... стал вдруг за мной ухаживать. Зачастил ко мне. Ездит и ездит. Я вначале думала, он это так... Ну, чтоб меня успокоить, отвлечь... А он всерьез... Букеты привозит, руки целует... А раз мы с ним шли из театра, и он меня на лестнице попытался поцеловать. Грубо так, нахально... Я его оттолкнула и говорю: «Славка! Как тебе не стыдно! Ведь ты же Вовкин друг!» А он знает, что отвечает? «Ты, говорит, не молись на него. Он тоже не ангел был». И снова целоваться полез. Ох, знаешь, Семка, как я его по щекам отхлестала! В жизни так никого не била, как его. С тех пор не вижу...

Мы медленно идем к выходу и едем домой. А на другой вечер Лера снова тянет меня в Нескучный сад.

В Зеленом театре парка идет какой-то концерт. Лера пробирается вдоль забора театра и манит меня рукой.

— Иди сюда! Здесь должна быть лазейка.

Она действительно находит в заборе две доски, которые легко раздвигаются, и тихонько перелезает в театр. Я перелезаю за ней.

— Эту лазейку Вовка нашел, — говорит Лера. — Мы с ним тут всегда пробирались.

Театр почти пуст. Мы идем к передним рядам, садимся и слушаем.

Концерт оказывается неинтересным. Лера морщится и тянет меня за рукав.

— Пошли обратно.

— Пошли, — соглашаюсь я.

Мы снова отыскиваем свою лазейку и выбираемся через нее в Нескучный сад.

Когда становится совсем темно, Лера останавливается, гладит мой рукав и тихо просит:

— Семка... еще раз... как вчера...

— Не надо, Лера! — Я мотаю головой. — Не надо! Это нехорошо.

— Ну, Семка!.. — Голос у Леры тихий, жалобный. — Я так хочу! Неужели ради меня ты не можешь через что-то переступить? Ведь у тебя нет девушки! Ты ни перед кем не виноват.

Мне страшно хочется ее поцеловать, но я снова упрямо мотаю головой.

Тогда Лера сама обхватывает мою шею и прижимается губами к моим губам. И я не выдерживаю, обнимаю ее, и мы целуемся крепко, еще крепче, чем вчера.

После этого я стараюсь не ездить в Нескучный сад, но через несколько дней Лера снова вытаскивает меня туда, и снова повторяется то же самое.

Эти поцелуи потом целый день жгут мне губы, снятся по ночам. И, хотя они мучительны, мне хочется их снова и снова. Но я понимаю, что они — не для меня.

В следующий раз я набираюсь решимости и твердо говорю Лере:

— Я больше не поеду в Нескучный сад. Я больше не могу так. В конце концов я тоже человек, а не поцелуйная машина.

Лера как-то странно, даже немного презрительно улыбается.

— Я думала, у меня есть друг, — говорит она. — Один человек не раз называл себя моим другом. А ког-

да от него потребовалось очень небольшое, совсем небольшое, он сразу стал говорить: «Я не могу», «Я не хочу», «Я не поеду»... Тебе этого не понять, Семка. Тебе это просто. А я, может, только этим и живу!

И я сдаюсь, и мы едем в Нескучный сад и снова целуемся там — долго, крепко, сладко. А потом бродим по диким дорожкам, лазаем по горкам, сидим на обрыве над Москвой-рекой до тех пор, пока свистки милиционеров не поворачивают нас к воротам парка. Милиционеры начинают свистеть в половине двенадцатого.

От всего этого я теряю голову, занимаюсь кое-как, потому что все время думаю о Лере, и последние экзамены сдаю на тройки.

А после экзаменов Лера прибегает ко мне радостная, улыбающаяся и говорит:

— Ой, Семка! Мама мне преподнесла сюрприз — путевку на Рижское взморье, в дом отдыха. Как хорошо! Через десять дней еду!

Мне становится тоскливо. Я знаю, что буду все лето сидеть в Москве, потому что у нас с мамой нет денег ни на какую путевку. И теперь, когда Лера уезжает, я понимаю, что буду в Москве один, потому что почти все ребята из нашей группы тоже разъезжаются.

В эти последние десять дней мы еще несколько раз едем в Нескучный сад, и все происходит так же, как раньше. Но я чувствую, что мысли Леры уже не здесь, не со мной, а где-то там, на Рижском взморье.

И вот уже чемодан Леры заложен на третью полку, и мы выходим на перрон, гуляем по нему, ожидая последних звонков. Мать Леры мы оставили в вагоне — караулить чемодан.

Лера останавливается и гладит лацканы моего пиджака.

— Так что же ты скажешь мне на прощанье, Семка? — спрашивает она.

— Получше отдохай, набирайся сил, — говорю я первое, что приходит в голову.

— И только?

— А что ты хочешь еще?

— Нет уж, — как-то печально произносит Лера. — Ты говори то, что хочешь ты, а не то, что хочу я. Мало ли чего я хочу!

Я думаю, что сейчас нужно было бы сказать ей о

том, как давно я ее люблю и как долго она меня мучила, не замечая этой любви и заставляя меня делать то, что нельзя требовать даже от очень хорошего друга. В конце концов, ей когда-то нужно узнать, что все это я делал не только из чувства дружбы.

«А нужно ли? — тут же спрашиваю я себя. — Нужно ли ей это знать? Будет ли ей от этого знания легче? Ведь все равно ничего, кроме дружбы, для нас невозможно. Между нами стоит Вовка, и будет стоять всегда, всю жизнь. Пусть уж лучше мы останемся хорошими друзьями...»

Я как можно беззаботнее улыбаюсь и спрашиваю:

— Ты будешь мне писать?

— Буду. А ты мне?

— Хоть каждый день! Только пришли адрес.

— Пришлю. Ты пиши. А то мне там будет скучно.

Раздаются звонки. Из вагона нам машет рукой Лерина мама. Мы подходим к вагону и последний раз глядим друг другу в глаза. Мне очень хочется поцеловать Леру — не как Вовка, а от себя, на прощанье, — но я не знаю, как она к этому отнесется. Она ведь не просит сейчас об этом...

И вот уже поезд уходит, и Леры не видно. Я беру под руку ее маму, и мы потихоньку идем к трамваю.

Мне абсолютно, мне совершенно нечего делать дома. Мне некого пригласить в парк или в кино, а знакомиться с девушками на улице я не умею и не хочу. Из нашей институтской группы я остался в Москве чуть ли не один. И от нечего делать я начинаю читать книги по курсу средневековой западной литературы, которую мы станем изучать в будущем году, и конспектирую толстую историю французской литературы, которая недавно вышла из печати. Эта работа постепенно захватывает меня, и я уже снова занимаюсь целыми днями, как во время экзаменов, и только по вечерам выхожу прогуляться на улицу.

Иногда приходят письма от Леры — короткие, спокойные — не письма, а отписки. Я отвечаю ей длинными и, мне кажется, умными письмами, в которых рассказываю об ирландских сагах и цитирую французских поэтов-трубадуров.

Лера приезжает неожиданно, не известив меня телеграммой, как мы договаривались, и я встречаю ее на

лестнице случайно, уже через два дня после ее приезда.

Она вся какая-то новая, южная, загоровшая, у нее новая прическа, маленькие серьги в ушах, новые бусы. Она куда-то торопится и обещает зайти ко мне и обо всем рассказать. Я жду ее целых два дня и никуда не выхожу из дому. Но ее все нет. Я поднимаюсь к ней сам и узнаю, что вчера она уехала в деревню, к каким-то знакомым, и вернется лишь к началу занятий.

Писем из деревни она мне уже не присылает.

7

Проходят годы, проходит много лет, которые делают нас взрослыми, самостоятельными людьми.

Лера теперь живет с мужем, морским офицером, в Прибалтике. Я работаю в Пензе. Каждый год и Лера, и я в свой отпуск хоть ненадолго приезжаем в Москву. Иногда эти отпуска у нас частично совпадают. Мы никогда не договариваемся об этом, но ведь оба мы — москвичи и прекрасно знаем, когда лучше всего приезжать в Москву.

У Леры — дочка, у меня — сын. Им скоро будет по три года. И вот однажды мы встречаемся в нашем дворе возле песочницы, в которой играют наши дети.

Мы знакомим их. Мой сын смело протягивает измазанную в песке руку.

— Миса.

Лерина дочка говорит чище, но стесняется больше и почти шепотом произносит:

— Аллочка.

Потом они начинают показывать друг другу свои игрушки и скоро забывают про нас. А мы сидим на лавочке и, перебивая друг друга, рассказываем о своей работе, о своих городах.

— А помнишь то лето, — неожиданно произносит Лера, — когда мы с тобой целовались в Нескучном саду?

— Конечно, помню!

— Какой ты был дурак тогда, Семка! — Лера улыбается. — Ох, какой классический дурак!

Я удивленно гляжу на нее.

— Почему же это я был дурак?

— Подумай. Ведь ты, кажется, любил меня?

— Да, любил.

Теперь я произношу это уже спокойно, твердо. Такие слова вообще легче произносить в прошедшем времени. Но я чувствую, что и сейчас Лера мне очень дорога. Может, я ее люблю до сих пор? Мне очень трудно вот так, сразу, разобратся в этом. Но, конечно, если я даже разберусь, я не скажу ей, что люблю ее...

— Вот если бы ты тогда не был дураком, — продолжает Лера, — мы бы могли быть вместе.

— Нет, Лера! — Я качаю головой. — Мы не могли бы быть вместе. Между нами был Вовка. И ты все время напоминала об этом. И, целуя меня, ты бы все время думала, что целуешь его...

— Ох, Семка, как ты неправ! — Лера улыбается мне снисходительно, как старшая. — Жизнь устроена гораздо проще и мудрее, чем тебе кажется. Она все залечивает. Он не мешал бы нам быть вместе. Скорее, наоборот, — большее бы нас связывало.

В это время раздается рев. Плачет Аллочка. Они что-то не поделили с моим Мишкой, и он воспользовался своим мужским правом сильного. Лера утешает Аллочку, а я наказываю Мишку. У нас с ним железное правило — девочек не обижать. А он его нарушил... Так что теперь плачет он, а Аллочка все еще недоверчиво косится на него.

Мы с Лерой смотрим друг на друга и смеемся. Я гляжу на ее такое знакомое, такое родное и близкое мне лицо, и мне кажется, что я уже во всем разобрался и что, несмотря на это, она все-таки ошибается. Конечно, жизнь залечивает любые раны. Но прежде всего она заботится о потомстве. А для того, чтобы дети были счастливы и росли здоровыми, между их родителями лучше не стоять никому — даже самому хорошему и давно уже покойному другу.

Впрочем, может, я и неправ. Но кто нас рассудит?

В понедельник утром...

Будильник звенит в половине седьмого. На самом деле еще только шесть двадцать пять. Будильник спешит на пять минут. Юрий знает, что он спешит, но специально не ставит его точно. Это маленькая хитрость с самим собой, чтобы утром хоть пять минут полежать в постели после того, как прозвенит звонок. Эти пять минут сладкой дремоты, наверно, самое большое удовольствие за день.

Они отсчитываются где-то в глубине сознания, эти удивительно короткие пять минут. Когда они кончаются, Юрий открывает глаза. Проверяет себя по будильнику. Тридцать пять. Значит, тридцать. Все! Больше нежиться нельзя. Юрий садится, ищет пальцами ног тапочки и, нащупав их, встает.

Нора еще спит. Вернее, притворяется, что спит. Звонок будит ее так же, как и Юрия. Но она может еще подремать, пока Юрий умывается и бреется. Она встанет тогда, когда ему нужно завтракать. И через десять минут у нее все будет готово: яички сварены, кофе на столе, хлеб нарезан. Когда Юрий кончает одеваться, завтрак его уже ждет. Это как часы. И, как часы, за этим следует неизменная фраза: «Такую жену на руках носить надо!»

Раньше Юрий и в самом деле носил ее на руках...

Игорек тоже еще спит. Он обычно просыпается, когда Юрий завтракает. И каждое утро спрашивает, не воскресенье ли сегодня. Это потому, что он очень любит воскресенье. Папа и мама в этот день не уходят на работу. Его не отводят в детский сад. И обязательно будет

или прогулка в детский городок парка, или поездка за город, на речку, или новое кино, или еще что-нибудь.

Игорек хорошо знает, что два выходных подряд бывают только в праздники. А праздников теперь ждать долго — до самого седьмого ноября. И все-таки каждое утро он спрашивает:

— Папа! А сегодня не воскресенье?

И Юрию слышится в этом вопросе святая детская вера в чудо, в сказку. А вдруг какой-нибудь волшебник сделает два выходных подряд и не в праздники? А вдруг праздники наступят раньше? А вдруг...

— Нет, Игорек, — отвечает Юрий. — Воскресенье было вчера. Ты же знаешь, что подряд они не бывают.

— Зна-аю... — грустно тянет Игорек и садится в своей кроватке. — Ну хоть когда-нибудь они могут быть подряд и не в праздники? Ну хоть раз в жизни?

Юрий смеется. И Нора смеется. И ее высокая грудь свободно колыхается под халатом. И Игорек тоже смеется и тащит к себе через спинку кровати инерционную машину с этажерки, которая стоит рядом.

— Оставь машину! — говорит Нора. — Машины в кровать брать нельзя!

— Я только на минуточку, мама! — жалобно просит Игорек.

— Другие дети берегут свою маму, а ты ее только волнуешь!.. — Нора подходит к кроватке, спускает сетку. — Вставай! Иди умываться!

Игорек нехотя ставит машину обратно на этажерку, спускает ноги на коврик и отцовским движением нащупывает пальцами ног тапочки под кроватью.

Юрий завтракает и наблюдает за ним. И чувствует, что каждое движение сына вызывает в нем радость. Бурную, яркую радость, которая давно уже стала для него самой большой радостью.

Когда Юрий кончает завтракать и снимает с вешалки брезентовую куртку, в которой ходит на работу, Игорек возвращается из ванной. Глазенки у него блестят, на лбу видна мокрая, невытертая полоска, а возле уха белеет зубная паста.

Юрий проводит носовым платком по лбу сына, стирает пасту возле уха, нагибается и целует Игорька в щеку.

— Пока, сынок. Мне пора на работу.

— Пока, папа. Приходи пораньше.

Ухватившись за палец Юрия, Игорек провожает его до выхода на лестницу.

На работу Юрий идет пешком. И потому, что близко, и потому, что автобусов здесь все равно нет. От новых кварталов до завода, где Юрий ведет строительство, автобусы пока не ходят.

До проходной завода — пятнадцать минут. Еще пять минут надо идти по заводской территории до конторы участка. Без десяти восемь Юрий на месте. Можно было бы, конечно, приходить и ровно в восемь. Но лучше — хоть на десять минут раньше. Юрий давно заметил: если приходишь ровно в восемь, день тебе уже не подчиняется, а ты подчиняешься ему. В восемь начинаются звонки, приходят люди, и порой не успеваешь дать даже совершенно необходимые указания.

Прораб и мастера знают, что начальник участка приходит без десяти восемь, и к этому времени они уже в конторе. За десять минут можно решить самое важное, наметить самое необходимое из того, что нужно сделать за день. Десять минут — это очень много, когда разговор идет спокойно и никто не дергает.

Но сейчас до встречи с прорабом и мастерами еще далеко. До этой встречи целых двадцать минут, которые Юрий будет идти один. И за эти двадцать минут нужно обдумать нечто не относящееся к строительству...

Сегодня Тая работает последний день. Сегодня у нее кончается практика. Завтра утром она уедет. Недалеко — в Куйбышев. Всего каких-нибудь шесть часов езды на поезде. Но он может никогда больше не увидеть ее. Ничто не привязывает Таю к городу, где она провела три месяца практики. Абсолютно ничто! Она вернется в свой дом, в свой институт и, может, уже через неделю забудет о людях, с которыми три месяца работала бок о бок. Ну, пусть не через неделю — пусть постепенно. И если даже когда-нибудь потом, несколько лет спустя, она и встретит кого-либо из этих людей, то будет мучительно думать: «Где я его видела? Как его зовут? До чего же неудобно, что я забыла!»

А он не сможет забыть ее. Наверно, никогда. И будет искать с ней встречи. Хоть недолгой. Хоть случайной.

Он очень отчетливо все понимает. Может, это даже

плохо, что он понимает все так отчетливо. Может, было бы лучше, если бы в голове было хоть немного сумбура и не так безотказно работали сдерживающие центры. Говорят, что когда человек любит очень сильно, сдерживающие центры слабеют. Наверно, так у многих. Но не у Юрия. Вот не может же он, например, напиться пьяным, хотя в последнее время не раз хотел напиться и помногу, очень помногу пил на вечеринках и пикниках. Какая-то дьявольски устроенная голова. Не голова, а тормозная колодка!..

И все-таки Тая не должна его забыть! Он будет идиотом, если позволит ей потерять его лицо в однообразном потоке других лиц. Он еще не знает, зачем ему это нужно. Но чувствует, что ему это просто необходимо, что он должен добиться того, чтобы Тая его не забыла.

До сих пор всего, чего он хотел, он добивался. Правда, иногда дорогой ценой, но все равно добивался.

В школе он хотел получить медаль. И он получил ее, хотя ради этого приходилось во многом себе отказывать.

Он хотел поступить в строительный институт. И он поступил, хотя для этого ему, медалисту, пришлось сдавать вступительные экзамены наравне со всеми — места для медалистов были уже заполнены.

В институте он мечтал о серьезной, интересной стройке. И он добился назначения в тундру и строил там важнейший научный городок, а теперь сооружает завод, пуска которого с нетерпением ждет вся страна и строительство которого поэтому объявлено особо важным.

Когда-то Юрий мечтал о сыне. И теперь у него просто великолепный сын.

Когда-то, как о великом счастье, Юрий мечтал о своей квартире, потому что они с Норой устали мотаться по частным комнатам и выслушивать придирки хозяев. И теперь у них хорошая квартира, хотя ради этого Юрию снова пришлось полтора года ограничивать себя и в чтении, и в кино, и в сне, и ходить по вечерам на строительство, и таскать камни, и обтесывать бревна.

Он добился всего, чего хотел. Он женился на самой красивой девушке той северной стройки, на которую попал после института. Многие всерьез считают его сча-

стливчиком. Даже говорят ему об этом. Юрий только усмехается. Он не разубеждает тех, кто говорит это. Пусть завидуют. Но вообще-то завидуют они зря. Потому что чего-то в жизни Юрия не хватает, чем-то он сам себя обделил и до сих пор толком не знает чем.

Юрий не раз пытался определить это «что-то». Ему казалось подчас, что это какая-то внутренняя свобода, какая-то раскованность, умение жить легко и просто, умение наслаждаться жизнью, а не нести ее как трудную повинность. То умение, которого у него никогда не было и которому он всегда завидовал. Порой же думалось, что это «что-то» — свобода чисто внешняя: право шататься с друзьями ночь напролет и никому потом не объяснять, где и с кем был, право любить любую девушку, на которой почему-либо остановился взгляд.

Но иногда к Юрию приходит уверенность в том, что это «что-то» — не первое и не второе, а какое-то неуловимое третье, которое никак не поддается определению и которое может включать в себя и внутреннюю и внешнюю свободу и в то же время не сводиться только к ней, а быть гораздо шире нее.

Покойная бабушка рассказывала, как когда-то, когда Юрий был маленьким, ее остановила на улице цыганка и по Юриной руке нагадала, что этот мальчик добьется в жизни всего, чего захочет, но все, чего он добьется, достанется ему очень дорого.

Наверно, ничего этого не было, и просто бабушка воспитывала у Юрия характер. Она была хитрой старухой. Она не раз говорила про этот случай, и ее рассказ крепко врезался Юрию в память, и иногда ему даже казалось, будто он помнит ту цыганку. А в последнее время ему кажется, что он заплатил за свои успехи не просто дорого, а слишком дорого, что он отдал за них что-то такое важное и неуловимое, без чего успехи становятся бессмысленными, перестают быть успехами.

У одного из поэтов — у Коржавина — Юрий читал:

Я работал в той области,
Где успех — не успех...

Иные в этой области работают. А иные в ней живут. Юрию, кажется, досталось второе...

Когда на участке появилась Тая, Юрий вначале даже подсадовал: и так работы через край, а тут еще во-

зись с практикантками. Тая пришла не одна. Их вначале было три — Тая, Ольга и Лена. Потом Лену перевели на другой участок. Юрий был очень рад этому — все-таки легче.

Начальники других участков завидовали ему — студентки были красивыми, стройными, с тонкими ногами и высокими золотистыми «бабеттами» на голове.

— За такими побегаешь, — посмеиваясь, говорили начальники других участков. — А тебе сами в руки идут... Целым косяком...

— Что толку? — отмахивался Юрий. — Я вне игры...

— Да, конечно, — соглашались с ним. — У тебя и жена не хуже...

Вначале все три студентки казались Юрию какими-то одинаковыми. Как когда-то европейцы казались китайцам — на одно лицо. Девушки приходили на работу нарядными, в туфельках на «шпильках», как будто шли не на стройку, а в парк. В конторе они вынимали из чемоданчиков халаты и тапочки, забирали туфли в столе и уходили на стройплощадки.

После обеда студентки собирались в конторе и не меньше получаса трещали, как сороки, делясь утренними впечатлениями. Они не задавали Юрию в первые дни никаких вопросов, и он был очень рад этому, потому что все равно отвечать на их вопросы было бы некогда.

Потом вопросы все-таки посыпались. Они посыпались в один день, совершенно неожиданно для Юрия и сразу градом.

— Почему вы законсервировали электродный цех? Он же почти готов!

— Почему вы три года строите резервуар, который можно построить за месяц?

— Зачем вы строите свой полигон? Ведь в километре от вас громадный завод железобетона!

— Почему ваши рабочие с утра по часу ждут раствор? Неужели нельзя начинать их рабочий день на час позже?

И еще было много всяких «почему» и «зачем», на которые Юрий не то что не успевал ответить, но которые даже не успевал осмыслить.

Он вначале пытался вставить какие-то, хоть короткие, ответы в этот поток вопросов, потом уже пытался просто приостановить его хоть на минуту, а затем махнул

рукой, замолчал и только улыбался, переводя взгляд с одной девушки на другую.

Наконец они замолчали сами, переглянулись и рассмеялись, поняв, что произошло.

Юрий смеялся вместе с ними. А потом стал объяснять сложности планирования, снабжения и финансирования, которые вынуждают порой любых строителей, даже самых сверхгениальных, делать вещи, кажущиеся на первый взгляд нелепостями.

— У нас устаревшее планирование, — говорил он. — Планировать стройку в рублях при нынешних расценках — значит толкать людей на неизбежную консервацию зданий. Ведь отделочные работы дешевы. Они не дают плана... У нас сумбурное финансирование — ставят объект в план, а денег дают на три доски. Это вам как раз про резервуар... У нас нелепое снабжение. Нам нужны колонны, а завод железобетона гонит блоки и плиты, которые ему выгодны. У него ведь тоже план в рублях... Вот и приходится ради колонн свой полигон строить... Чтобы навести на стройке порядок, девчата, надо с Госплана начинать...

У Юрия было немало соображений по этому поводу. Накипело, наболело... Он уже давно разобрался, почему строительство отстает от всей остальной промышленности. Он не раз говорил об этом и с управляющим трестом и с начальником областного управления строительства. Он убедился, что не одинок в своих выводах... И теперь притихшие девушки внимательно слушали его и только изредка мигали подкрашенными ресницами.

Потом Лена вздохнула и тихо спросила:

— А вы пытались объяснить это руководству?

Юрий усмехнулся.

— Руководство знает все это лучше меня. Планирование в рублях критиковалось на десятках совещаний — и «узких» и «широких»...

— Почему же его не изменяют? — спросила Тая.

— Видно, слишком сильна инерция. Ведь десятки лет было так. Не вдруг повернешь... Огромная страна...

— И почему нам этого не говорят в институте? — задумчиво сказала Тая.

— Нам тоже не говорили, — посочувствовал ей Юрий. — В институте много чего не говорят... Приходится, так сказать, своим умом...

Им не дали тогда договорить. Приехал главный инженер треста, и пришлось ходить с ним по объектам, и записывать его указания, и потом ломать себе голову над тем, как их выполнить. Но Юрий чувствовал, что этот незаконченный разговор не прошел бесследно, что он как-то определил отношения с девушками. Раньше эти отношения были строго официальными. Теперь они стали теплыми, товарищескими.

Девушки уже не задавали Юрию первых пришедших в голову «почему» и «зачем». Они старались сами найти корни тех бед, которые тормозят стройку. И Тая разбиралась во всем этом глубже всех — он это сразу заметил. Он вообще как-то постепенно выделил ее. И черты лица у нее были более мягкие, более нежные, чем у ее подруг. И губы были добрые, детские. И глаза были какие-то особенные, глубокие. По таким глазам не скользнешь равнодушным взглядом.

С рабочими Тая была удивительно внимательна и душевна. Она ни от кого ничего не требовала. Она считалась помощником мастера и могла приказывать бригадирам и рабочим. Но она не приказывала, а просила. И ее просьбы почему-то выполнялись точнее любых требований.

Слушая, как Тая разговаривает с бригадирами, Юрий однажды подумал, что, когда она выйдет замуж, она не будет говорить мужу: «Ты должен меня уважать!» Муж будет уважать ее и без подобных напоминаний... Юрий усмехнулся. Уже шестой год Нора при каждой ссоре говорит ему: «Ты должен меня уважать!», «Ты не имеешь права меня не уважать!» А что толку? Юрий все равно ее не уважает. И давно не любит. И очень хорошо понимает, что такая жизнь лишает его самого простого и необходимого, самого обязательного человеческого счастья. Но с этим уже ничего не сделаешь. Это придется терпеть. Может, до самого конца. Или, по крайней мере, до тех пор, пока Игорек не станет взрослым. И не потому, что Юрий чего-то боится. Никакая угроза персонального дела не удержала бы его возле нелюбимого человека. Просто Юрий не может без сына. Никак не может. И это не холодный, рассудочный долг. Это внутренняя, совершенно неистребимая потребность видеть сына, играть с ним, носить его на руках, лепить из него человека, которым можно будет гордиться.

И эта потребность сильнее всех остальных чувств. Даже сильнее любви к Тае.

Иногда Юрию кажется, что какие-то нелепые условности опутывают его, словно муху паутина. Это — можно, это — нельзя. Больше нельзя, чем можно. И даже то, что «можно», часто имеет столько «но», что, по существу, это уже не «можно», а «нельзя». И вот любишь девушку, и видишь, что она расположена к тебе. и, казалось бы, ничто не запрещает сказать ей о своей любви, и, может, даже не только сказать... Но... Но последствием этого «можно» будет разлука с самым дорогим тебе на земле существом. И вот уже «можно» становится «нельзя». И через это «нельзя» невероятно трудно переступить, потому что из двух зол выбирают меньшее, а из двух любовей побеждает большая.

Если бы можно было уйти и взять Игорька с собой!.. Как просто разрешились бы тогда все, казалось бы, не разрешимые для Юрия сложности... Но Нора Игорька не отдаст. И закон на ее стороне. И этот закон не обойдешь, не отменишь. И отцу, который не может бросить ребенка, остается только одно — ложь. Долгая, нескончаемая, беспросветная.

Впрочем, если бы кто-то и изменил этот закон и оставил ребенка с отцом, — следствием все равно часто была бы ложь. Только на этот раз ложь матери, разлюбившей мужа. Еще более страшная...

Наверно, это потому, что любовь не подчиняется буржуазным законам. И когда они пытаются управлять ею — нередко возникает ложь...

Юрий идет по улице. Идет быстро, потому что время рассчитано до минуты.

Свернув за угол, он уже видит завод, его выходящий на площадь стройный инженерный корпус, его проходные, его поднимающийся за проходными громадный сборочный цех из стекла и пенобетона. Цех, который строил и сдавал Юрий. Самый большой цех в городе. Самый красивый. Самый современный.

Глядеть на этот цех — почти такое же удовольствие, как наблюдать за Игорьком. Только Юрий никому не признается в этом. Почему-то многим такие вещи кажутся смешными...

Завод быстро приближается. А что-то важное еще не решено и не продумано. Собственно, продумать всего

нельзя. Это не шахматная партия. А решать надо не ему одному. И ясно только то, что разговор, который еще вчера можно было отложить на сегодня, сегодня откладывать уже нельзя. Иначе он вообще не состоится...

Сегодня понедельник. Все считают его тяжелым днем. Для Юрия он особенно тяжел — каждый понедельник две планерки. Они отнимают много времени, но ничего не поделаешь, они действительно нужны. Это деловые совещания, на которых говорят короткими фразами и не произносят ни к чему не обязывающих речей.

Совещания сжимают остальное рабочее время до отказа. В одиннадцать — разговор с субподрядчиками. И к нему еще надо подготовиться. А для этого — обойти объекты, определить, где субподрядчики тянут, где для них открылся новый фронт работ, где он откроется для них за неделю. Если что сегодня упустил — завтра не исправишь. Жди потом следующего понедельника...

Совещание с субподрядчиками — до обеда. А в четыре уже следующее — планерка в своем управлении. Будут делить фонды, перебрасывать с участка на участок бригады и машины, прикидывать выполнение плана. И к этой планерке тоже надо готовиться, а стройка идет своим чередом, и поэтому будут звонить, приходить, и не останется ни минуты свободной, и когда разговаривать с Таей, — неизвестно.

«Я попрошу ее пойти со мной по объектам, — решает Юрий. — Это, конечно, не ее дело. Но если она хоть что-то чувствует ко мне — она согласится. Не увязался бы только с нами кто-нибудь из мастеров...»

Юрий входит в конторку участка, здоровается с рабочим Кулевым и мастерами, отпирает стол, достает из тумбы графики работ на втором инженерном корпусе, на кислородной станции и заготовительном цехе, раскладывает их по столу.

— Кирпичную щебенку тебе в субботу привезли? — спрашивает он мастера Ромашова.

— Вечером. — Ромашов кивает.

— Начинай бетонировать склад шихты.

— А людей откуда взять?

— Сними полбригады с полигона. Все равно арматуры почти нет.

— А если привезут?

— Привезут — будем думать.

— По сталелитейному у тебя все? — спрашивает Ромашов.

— Все. Иди.

К восьми все срочное решено. Мастера расходятся. Тая приходит ровно в восемь. Вместе с Олей. Оля сегодня румяная, свеженькая и веселая. У Таи усталое, бледное лицо, как будто она плохо спала ночь.

Девушки натягивают халаты, надевают тапочки, и, когда щелкает замок стола, в котором они заперли белые туфельки с дырочками, Юрий глухо произносит:

— Я сейчас пойду на инженерный корпус и кислородную... Может, вы сходите со мной, Тая?

Юрий не глядит на девушек. Он озабоченно рассматривает графики на столе. Но каким-то боковым зрением он видит, что Тая и Оля обмениваются долгим, многозначительным взглядом. Потом Тая негромко говорит:

— Хорошо, Юрий Николаевич.

Юрий складывает графики, сворачивает их в короткую, плотную трубку и направляется к дверям.

— Что ж, идемте, — бросает он на ходу.

Он понимает, что вид у него деловой, озабоченный и безразличный. Но внутри у него все напряжено и натянуто до предела, как будто он — пятнадцатилетний мальчик и впервые пойдет по улице под руку с девушкой.

Они выходят из конторки и идут к проходным. Второй инженерный корпус и кислородная станция пока что за пределами завода, в поле. Когда они будут закончены, заводской забор перенесут.

Юрий идет рядом с Таем по дороге и глядит на тени. Тени идут впереди. Одна тень — длинная, с разлохмаченной шевелюрой. Другая — тоненькая, изящная, чуть покороче первой.

Наверно, если бы Тая шла на каблуках, тени были бы равные. Но Тая еще ни разу не ходила рядом с Юрием на каблуках. Она ходила с ним рядом только здесь, на стройке. А здесь Тая всегда в тапочках.

— Вы уезжаете завтра? — спрашивает Юрий.

— Да, — отвечает Тая. — Завтра.

— А куда вы поедете на преддипломную практику?

— Пока неизвестно.

Юрий, собственно, и сам знает все это: и то, что она уезжает завтра, и то, что в конце третьего курса неизве-

стно, где будет проходить практика на пятом. Но он почему-то задает эти нелепые вопросы и никак не может заговорить о главном — о том, ради чего он попросил Тая пойти с ним.

— Вы, наверно, больше не приедете в наш город? — спрашивает он.

— Не знаю. Как получится.

— А вам понравилось здесь?

— Ничего... — Тая пожимает плечами. — Город как город. — Она улыбается. — У нас лучше.

— Мне будет очень не доставать вас, Тая, — наконец выдавливая из себя Юрий.

Тая делает несколько шагов молча. Потом тихо говорит:

— У вас ведь и так немало подчиненных, Юрий Николаевич.

— Я говорю не о работе, Тая...

Они подходят к проходной. Тая идет молча и глядит в землю. Они проходят мимо охранниц и оказываются на широкой асфальтовой дорожке перед заводом. Теперь им надо идти налево — мимо первого инженерного корпуса, мимо строительного управления, в котором работает Юрий, мимо гаража и строящихся жилых домов. Там, за этими домами, — второй инженерный корпус.

Тая все еще идет молча и глядит себе под ноги.

Юрий тоже молчит.

Рядом, по пыльной дороге проходит машина и окутывает их густым желтым облаком. Тая прищуривает глаза и идет так до тех пор, пока пыль не рассеивается.

Юрий невольно вспоминает, что вот так же, с прищуренными глазами, шла Нора впервые по пыльной улице, на которой он снял частную квартиру.

Они приехали тогда с Севера и почти никого не знали в этом городке, куда Юрий получил назначение. И Нора все пилила его за то, что он снял квартиру на окраине и отсюда не выберешься ни в театр, ни на концерт, а она и так была лишена этого в тундре.

У них тогда было много денег, и они могли оплатить любую квартиру, и это не давало Норе покоя. Ей казалось, за деньги можно сделать все, и Юрий никак не мог ей втолковать, что в этом городе семейным вообще сдают квартиры очень неохотно. А тем более, если у квартирантов грудной ребенок. «Потом не выселишь

вас, — прямо говорят хозяева. — Вот если бы военного... Или студентов...» Хорошо хоть на окраине-то сдали...

Нора вообще долго мерила все на северные мерки. Долго капризничала так же, как там, на строительстве научного городка, где она была одной из немногих женщин и где женщинам, именно потому, что их было немного, прощалось очень многое.

Там Нора была первой красавицей. Один восторженный метеоролог даже посвятил стихи ее римскому носу, ее небольшим влажным губам, ее длинным каштановым волосам, зачесанным на одну сторону.

Нора до сих пор хранит где-то эти стихи. Вместе с несколькими письмами одного доктора наук... Он был вдвое старше ее, этот доктор, и при каждом удобном случае говорил о том, что под Киевом у него есть дача.

Эту дачу Нора вспоминает и сейчас, когда ссорится с Юрием. Иногда даже упрекает Юрия тем, что вышла замуж за него, а не за того доктора с дачей. «По крайней мере, он молился бы на меня!» — несколько раз говорила она.

Она была такой же и там, на Севере. Но там Юрий на многое закрывал глаза, многое считал только милыми капризами. Он думал, что она — воск, из которого со временем можно вылепить все, что угодно. А она, кажется, считала воском его, Юрия...

И сейчас еще Нора по-прежнему красива, и на вечерах возле нее всегда кто-нибудь вертится. Почему-то она любит рассказывать знакомым, как Юрий победил на Севере всех своих соперников. А Юрий все чаще думает о том, как дорого он заплатил за эту победу...

...Вот уже и инженерный корпус позади. Они подходят с Таяй к строительному управлению, и Таяя все еще молчит.

— Что же вы молчите, Таяя? — спрашивает Юрий.

— Думаю.

— О чем?

— О ваших словах.

— Вы сердитесь на меня?

— Нет! — Таяя натянуто улыбается. — Девушка не может на это сердиться. Я просто стараюсь вас понять.

— Это не так уж трудно.

— Но и не так уж легко. Вы не тот человек, которо-

го можно понять сразу. Я привыкла за эти месяцы уважать вас.

— А я поколебал ваше уважение?

— Пока нет. И мне не хочется, чтобы вы его поколебали.

— Вы ищите мне оправданий?

— В какой-то мере...

— Юрий Николаевич! — громко раздается слева.

Юрий поворачивает голову. Из ворот строительного управления выходит Василий Черемных, бригадир каменщиков, сооружающих второй инженерный корпус.

— Вы к нам, Юрий Николаевич? — спрашивает Черемных.

— К вам.

Черемных подходит, здоровается.

— Ну, идемте, — приветливо говорит он.

Они идут дальше уже втроем, и Юрий говорит с бригадиром о том, что не хватает силикатного кирпича, а месячный фонд на него уже выбран, и, если сегодня на совещании не удастся добиться дополнительного фонда, придется до конца месяца снимать рабочих со второго инженерного корпуса и переводить их на кислородную, где кладка ведется только красным кирпичом.

Тая идет рядом, глядит себе под ноги и задает редкие, короткие вопросы, если ей что-то неясно в разговоре Юрия и Черемных.

Они обходят первый этаж инженерного корпуса втроем, и Юрий придирчиво осматривает помещения и отмечает про себя, что здесь уже можно начинать штукатурные и сантехнические работы. Пока их будут вести на первом этаже, каменщики закроют второй. Итак, надо сегодня на совещаниях просить бригады сантехников и штукатуров.

Тая ходит с Юрием и Черемных, и, когда ее взгляд случайно встречается со взглядом Юрия, он видит в ее больших, глубоких зеленоватых глазах вопрос. Этот вопрос беспокоит его и почему-то радует.

На кислородную станцию они идут уже вдвоем. Солнце бьет им в глаза. Ноги поднимают темную пыль с дороги, проложенной самосвалами посреди картофельного поля. Тая молчит, молчит...

— Вы все ищите мне оправдания? — спрашивает Юрий.

— Мне хочется их найти...

Тая поднимает на него глаза, улыбается краешками губ. До чего же красивы у нее губы!..

— А мне ведь не нужны оправдания. — Юрий улыбается ей в ответ. — Совсем не нужны.

— Почему?

— Оправдания нужны виноватому. А я ни в чем не виноват... Полюбить другого человека — это никогда не считалось плохим...

Тая снова опускает взгляд. Они идут дальше по пыльной дороге, и солнце бьет им в глаза.

— Может, я старомодна, — тихо говорит Тая. — Подруги не зря называют меня осколком прошлого века. И я не хочу лицемерить — ведь сегодня последний день, и мы можем никогда больше не увидеться... Я хорошо отношусь к вам, Юрий Николаевич. Очень хорошо! Но нам не стоит вести такие разговоры. Они бессмысленны. У вас есть сын. А я росла без отца. Я знаю, что это такое...

Они приближаются к кислородной станции, обходят весь ее корпус. И Юрий отдает распоряжения руководителю звена каменщиков и видит, что здесь нужны плиты перекрытий, потому что первый этаж завтра закончат, и, если не будет плит, нельзя будет класть второй. А ведь сюда может хлынуть вся бригада Черемных.

«Плиты на кислородную, — произносит Юрий про себя. — Сантехники, штукатуры и силикатный кирпич на инженерный корпус... Не забыть бы...»

Обычно он хорошо помнит такие вещи. Но сегодня — боится забыть.

Он вынимает из кармана блокнот и прямо на обложке записывает то, что не должен забыть: плиты, силикатный кирпич, сантехников и штукатуров.

С кислородной станции нужно идти на заготовительный цех. Он тут же, рядом, рукой подать. Но между ним и станцией — заводской забор, святыня начальника охраны.

Правда, эта святыня вся в дырах. Через иную теленка можно вытащить, а не то что какую-нибудь деталь. Но все-таки это святыня. Не зря же в проходной завода по полчаса оформляют разовый пропуск и придираются к каждой запятой в документе.

Одна из дыр в заборе — большая, удобная — неумолимо притягивает к себе взгляд Юрия. Пролезть в нее — и до заготовительного цеха минута ходу. А кругом, через проходную, — двадцать минут. Пожалуй, сегодня слишком напряженный день, чтобы идти кругом...

Юрий решительно направляется к забору.

Тая останавливается и удивленно глядит на него.

— Идите сюда! — зовет Юрий. — Пролезем в эту дыру!

Тая улыбается.

— Но ведь нельзя!

— Идите! — Юрий машет рукой. — Если оглядываться на все «нельзя» — жить не стоит!

Тая легко подбегает к нему и лезет в дыру первая. Поднимается сатиновый халатик. Мелькает загорелое обнаженное бедро. Юрий с запозданием отворачивается и слышит из-за забора звонкий голос Таи:

— Что же вы, Юрий Николаевич?

Он улыбается, пролезает в ту же дыру и чувствует от этого какое-то бодрое, по-юношески озорное настроение. Как будто скинул с себя лет двадцать и снова стал мальчишкой, забравшимся в чужой сад за яблоками. Наверно, только ради этого ощущения стоило бы воспользоваться щелью в заборе.

На миг Юрию кажется, что это озорное настроение — частица того неуловимого «что-то», которое он никак не может определить. Он даже останавливается, пораженный этой мыслью, и вспоминает свои собственные, так легко сорвавшиеся с губ слова: «Если оглядываться на все «нельзя» — жить не стоит!»

И тут же он слышит голос Таи:

— Вы что-то забыли, Юрий Николаевич?

— Нет-нет! Идемте!

Они идут к заготовительному цеху, и Юрий вдруг понимает, что, не будь Таи, не полез бы он в эту дыру. Ведь он давно видел ее и ни разу ею не пользовался...

В заготовительном цехе все готово к работе монтажников — подвезены балки, плиты. И только монтажников нет, хотя заявку на их работы Юрий дал еще в прошлый понедельник. Надо будет сегодня на утреннем совещании серьезно поговорить с прорабом «Стальмонтажа» Федоровым. Сколько же можно тянуть?

Юрий записывает на обложке блокнота: «Монтаж-

ники — на заготовительный», — и поворачивается к цеху спиной.

И снова тянется под ногами пыльная дорога к конторке участка, усеянная обрезками железа, болтами и синими спиральными металлическими стружками.

— Я вообще-то не могу бросить сына, — как можно спокойнее говорит Юрий. — Я могу отказаться от чего угодно и от кого угодно, только не от сына.

Тая молчит. И Юрий молчит. И боится, что сейчас она скажет что-нибудь такое, после чего разговаривать будет уже невозможно. Если только вообще она хочет сказать это — сейчас у нее самый подходящий момент. Она не может не понимать этого.

Но Тая ничего такого не говорит. Она еще немного идет молча и затем тихо произносит:

— Мне кажется, я немного понимаю вас. Я почему-то вам очень верю. И теперь вижу, что вы вовсе не такой уж счастливчик, как многие тут про вас говорят.

— Спасибо... — еще тише произносит в ответ Юрий.

— И еще мне нравится ваша прямота, — продолжает Тая. — Другие в таких случаях юлят и обещают то, чего не собираются делать... Ваша прямота, конечно, располагает к вам... Но ведь все равно это ничего не меняет, Юрий Николаевич...

— Это неважно... Сейчас неважно, — поправляется Юрий. — Время многое прояснит... Я хочу как-нибудь приехать к вам в Куйбышев...

— Зачем?

— Просто, чтобы увидеть вас... Страшно даже подумать, что никогда больше вас не увижу.

Тая улыбается.

— Так бывает только в книжках, Юрий Николаевич.

— В книжках не все выдуманно. Чтобы написать книгу, надо кое-что пережить.

Тая пожимает плечами.

— Что ж, приезжайте. Я буду рада вас увидеть. Только я вам ничего не могу обещать. Вы же понимаете...

Она поднимает на него свои зеленоватые глаза, и несколько секунд, замедлив шаг, Юрий глядит в них. В ее глазах все тот же вопрос. И еще сочувствие. И еще где-то глубоко спрятанная боль. Ее раньше не было, этой боли. Всего полчаса назад ее еще не было.

Затем они идут дальше по заводской дороге, усеянной обрезками железа, болтами и синими закрученными стружками.

— Мы еще сходим на чугунолитейный цех, — говорит Юрий. — Хорошо?

— Хорошо, Юрий Николаевич.

— А потом... Что вы собираетесь сегодня делать?

— Буду в конторке. Надо готовить материалы к отчету.

— Вы... не уйдете, пока мы не простимся?

Тая растерянно улыбается.

— Нужно было бы... — Она снова поднимает голову и глядит ему прямо в глаза. — Но я не уйду.

— Спасибо.

Возле конторки участка Юрия уже ждут. Невысокий полный прораб Кулев и молодой всклокоченный мастер Ромашов. Они сидят на скамейке и что-то подсчитывают. Кулев — в блокноте, а Ромашов — коротенькой логарифмической линейкой, которая обычно торчит у него из кармана.

Увидев Юрия, они дружно поднимаются и идут к нему навстречу.

— Арматуру привезли, — говорит Кулев.

— Сколько? — спрашивает Юрий.

— Машину.

— Всего? А еще будет?

— Говорят, пока нет.

— Да-а...

Юрий достает из кармана пачку «Беломора», протягивает Ромашову, закуривает сам. Кулев не курит — у него сердце... Веселый, подвижной, все время на ногах, — а вот сердце...

Ромашов молод. Поэтому он не выдерживает первый.

— Что будем делать, Юрий? Кому брать эту машину? Ведь не разгружали — стоит, ждет... Шофер нам чертей посылает.

— А как вы считаете, Тая? — говорит Юрий. — Кому нужно отдать эту машину? Сталелитейному или чугунолитейному?

— Может, поделить?

— Нет. — Юрий отрицательно качает головой. — Делить нечего. И так на один зуб.

— Сталелитейный через год сдавать, — говорит

Тая. — А чугунолитейный — через два года. Нас учат: все силы на пусковые объекты...

Кулев снисходительно улыбается и глядит на Таю добродушными, смеющимися серыми глазами. Ромашов смотрит на Таю серьезно и с надеждой, как бы ожидая поддержки.

— Правильно учат, — говорит Юрий. — Только до пуска сталелитейного все равно далеко. И колонны для него можно делать зимой. А на чугунолитейном фундаменты зимой не заложишь. Прошляпим лето — зимой все работы останавливать.

— Значит, главное иметь задел? — спрашивает Тая.

— Главное — все, — говорит Юрий. — В один момент главным может быть одно, в другой — другое...

— Диалектика... — все еще улыбаясь, добавляет Кулев.

Ромашов подавленно опускает голову. Он уже понимает, что арматуры ему не дали, что арматуру увезет на чугунолитейный цех Кулев.

— Так я пойду скажу, чтоб вез? — говорит Кулев.

Юрий кивает. Кулев семенит к шоссе — быстро, как шарик катится. Юрий и Тая поворачиваются к чугунолитейному цеху. Ромашов недолго идет рядом с ними, молчит, потом останавливается.

— Ну, я к себе, — тихо говорит он и уходит влево, к строительной площадке сталелитейного.

Юрий и Тая снова остаются вдвоем. Солнце бьет в глаза. Тая вынимает из кармана халатика темные очки, вертит их в руке и опять опускает в карман. Видно, чувствует, что Юрию будет неприятно, если она их надеет.

— Вот я думаю, Юрий Николаевич, — тихо говорит Тая, — как странно устроена жизнь. Как много в ней значит случайность... Приехала бы к вам вместо меня другая девушка. Ну, такая же вот... — Тайны руки делают легкое движение вдоль тела. — И вы... в общем, вам понравилась бы она... Я ведь понимаю — любить кого-то нужно... И у нее была бы не такая жизнь, как у меня. Не такие правила... С ней все было бы легче, проще... И вы были бы счастливы. А теперь будете думать обо мне... А я буду чувствовать себя в чем-то виноватой. Хотя, в общем, я не виновата... И все это зависело от секретар-

ши деканата... А ей было совершенно безразлично, кого куда посылать. Чистая случайность...

— Да, конечно. — Юрий грустно улыбается. — Вы могли и не приехать. Приехала бы другая... Но ведь я мог ее и не заметить. Мне очень некогда...

Они один за другим обходят фундаменты колонн чугунолитейного цеха, и Юрий прикидывает, когда эти фундаменты могут быть закончены. Срок жесткий — к первому октября. А фундаментов — сотни. И не хватает то арматуры, то бетона, то леса на опалубку.

И где-то между мыслями о фундаментах, ничуть не мешая им, бегут мысли о Тая, о том, что все ее строгие правила могут полететь к чертовой бабушке, если только он сам не будет ни на что оглядываться. Юрий уверен, что мог бы увести Тая куда угодно и от кого угодно. Но потом ему пришлось бы быть подлецом, потому что он не может без сына. И поэтому пусть лучше с самого начала все будет ясно, чтобы не было никакой лжи. Хоть тут чтобы не было лжи!..

Мысли прерывает окрик:

— Юрий Николаевич!

Между фундаментами к нему бегут двое — мастер Фалеев и незнакомый рабочий в замасленной спецовке.

Юрий машет Фалееву рукой, идет им навстречу, чувствует, что Тая идет рядом с ним, и это радует его.

— Юрий Николаевич... — Фалеев задыхается от бега. — Вот экскаваторщик вас ищет... Там экскаватор трубу обломил... Траншеею заливает...

— Где? — встревоженно спрашивает Юрий.

— Возле деревообрабатывающего.

Юрий спешит к траншее. Рядом идут Фалеев и незнакомый экскаваторщик, который, видно, первый день работает на участке, иначе Юрий знал бы его. И рядом же торопится Тая. И Юрию приятно, что она торопится; что она не осталась на чугунолитейном и не ушла в конторку, к своему отчету. Это просто здорово, что она сама, безо всякой просьбы, идет рядом с ним!

Только что вырытую траншеею для электрокабеля действительно заливает. Вода идет бурно. Из воды выглядывает обломок керамической водопроводной трубы.

— Странно! — говорит Юрий. — На схеме здесь водопровод не обозначен.

Он прекрасно помнит схему прокладки кабеля, кото-

рую получил от завода и передал мастеру. Водопровода на этой схеме не было.

Однако вода идет, и надо принимать меры.

Юрий посылает Фалеева за новой трубой, экскаваторщику приказывает вырыть сбоку глубокий приямок, чтобы в него ушла вода из траншеи, а Тая говорит:

— Надо позвонить в заводской технадзор. Идемте в цех, там есть телефон.

Они идут к деревообрабатывающему цеху, и Юрий звонит из кабинета начальника — просит, чтобы перекрыли воду и прислали техника. Затем они с Таяй снова возвращаются к залитой траншее.

Юрий глядит на Таяу, и Тая отвечает ему долгим и каким-то странным взглядом, который Юрий никак не может прочитать. Вернее, он читает его. Но он не уверен, что читает его правильно. Ему чудятся в этом взгляде слова: «Смелее! Смелее! Не слушайся меня! Будь же смелее!»

Он думает о том, что, если Тая согласится остаться сегодня на вечернее совещание, он проводит ее и, может, даже поцелует. Наверно, она не позволила бы ему поцеловать себя, если бы впереди у них было еще много дней. Но сегодня последний день. А в последний день часто позволяют то, чего не позволяют в другие дни.

Подбегает высокий худощавый представитель технадзора Жора Гринюк. Он даже не пытается оправдываться. Чего оправдываться, когда технадзор виноват?.. Но разве в этой суматохе за всем уследишь? Понадеялись на память тех, кто визировал схему. А они тоже не боги... Да и кто-то ее не завизировал — некогда. И ждать его тоже было некогда. А разве есть время, чтобы поднимать все схемы коммуникаций с самого основания завода?.. В этой чертовой жизни даже в родную Одессу лишний раз не съездишь, а не то что...

— Не нужно было давать схему к производству, — замечает Юрий. — Раз не все завизировали...

— Вы же сами просили быстрее!

— Просили! Но рабочую схему, а не филькину грамоту.

— Теперь будете писать акт?

— Конечно! Для того тебя и позвали...

Спор стихает, когда Фалеев приходит с двумя рабочими и приносит запасную трубу. Вода из траншеи ух-

дит в прямую, рабочие откапывают поврежденную секцию трубы, и оказывается, что она по диаметру больше той, которую принесли на замену. И нужной трубы на участке нет.

— Я в «Спецстрой» съезжу, — предлагает Фалеев. — У них отыщется.

Юрий молча кивает ему, прощается с Жорой Гринюком и, оглянувшись на Таю, идет к конторке. Тая идет за ним, и от этого как бы теплая волна радости подхватывает Юрия.

— Я завидую вам, — говорит Тая. — Вы никогда не теряетесь. У вас всегда есть в запасе готовое решение. Как я хотела бы уметь это!

Юрий усмехается. Наивная девочка! Если бы у него на самом деле всегда были в запасе готовые решения!..

Время поджигает. Готовиться к совещанию с субподрядчиками уже некогда. Пора уже выходить на это совещание. Придется готовиться на нем самом, пока будет идти разговор с начальниками других участков... Что ж, не впервой...

Они доходят до конторки, и Юрий останавливается, и Тая останавливается возле него. Сейчас им надо расстаться, и Юрий вернется сюда уже после обеда, а до тех пор Тая просто может уйти, если захочет. Правда, она обещала дожидаться его, она обещала проститься с ним. Но Юрий понимает, что это ее обещание ничего не значит. Она может испугаться. Самой себя...

Юрий ни на что не надеется. Он готов ко всему. Но даже если она сейчас уйдет и не дожидается его — это уже немного изменит. Потому что главное — сказано. И так легко это не забудешь. И если все же она уйдет — значит, боится себя. И, значит, есть основания бояться...

Только сейчас Юрий вспоминает, как рано утром, еще в восемь часов, когда он позвал Таю с собой, она обменялась многозначительным взглядом с Олей. Тогда он только почувствовал этот взгляд, но не объяснил его себе. Теперь, кажется, он может его объяснить. Видимо, они говорили о нем. Видимо, Тая ждала этого разговора. Потому что когда возникает чувство, об этом задолго до первых слов знают оба. И было бы просто глупо, нелепо, если бы он сегодня промолчал.

А теперь — пора. Теперь поглядеть в ее глаза еще пять секунд, еще десять — и идти. Какие у нее глаза! Это просто чудо, какие у нее глаза! Сил нет повернуться и уйти, когда тебе в душу глядят такие глаза. Но надо. Нельзя же так долго стоять возле конторки, на виду у всех, и глядеть Тае в глаза!..

— Юрий Николаевич! Ты идешь?

Это Федоров, прораб «Стальмонтажа». Он выворачивается из-за угла конторки и еще издали протягивает руку. Он идет со сталелитейного цеха, где бригада высотников собирает металлоконструкции. Он хороший парень, этот золотоволосый, кудрявый Федоров. Но лучше бы ему не так спешить на это совещание. Или хотя бы не заходить за Юрием. Впрочем, теперь уже ничего не поделаешь...

Юрий поворачивается, протягивает руку.

— Здоров! Сейчас идем!

Он снова поворачивается к Тае и хочет попросить ее, чтобы она не уходила без него обедать. Он только сейчас подумал о том, что они могли бы пообедать вместе. Как он, дурень, сразу не сообразил сказать ей это?

Но Таи уже нет. Она так мгновенно исчезла в дверях, как будто растаяла в воздухе.

— Я, кажется, помешал? — понимающе спрашивает Федоров.

— Нет, что ты! Идем.

Они быстро идут к проходной. Перед ними бегут тени — короткие, куцые, они даже не столько бегут впереди, эти тени, сколько путаются в ногах. И Юрий вспоминает, как только что, совсем недавно, по этой же дорожке шли впереди две тени — одна длинная, взлохмаченная, другая тоненькая, изящная. И он почему-то думает, что будет вспоминать эти две тени всю жизнь, так же, как всю жизнь он будет помнить утро одного понедельника, которое ворвалось в его однообразные будни.

Впрочем, не только он будет помнить это утро. Его будет помнить и Тая. Теперь будет помнить! Потому что женщины не забывают тех, кто их любил. И особенно тех, кто не побоялся сказать о своей любви, как бы трудно и запутанно ни сложились обстоятельства.

Вкус своего хлеба

Мы — землекопы. Мы — это бригада. Считается, что хорошая бригада. Многие даже говорят — лучшая в городе.

Мы занимаемся устаревшим делом — долбим и копаем землю. Вручную. Лопатками. Ломиками. Как сто лет назад. Даже как триста. Может, даже как пятьсот. Я не знаю, были ли пятьсот лет назад лопаты и ломы. Наверно, были. Как же иначе?

Когда я говорю знакомым ребятам, что работаю землекопом, многие усмеваются. Еще бы — анахронизм. В век космических полетов долбить землю ломиком — веселенькая работка!

— Шел бы уж ты, что ли, на экскаватор, — сказал мне один парень. Витька Середкин. Он, между прочим, плотник. Забивает гвозди молоточком. Тоже как пятьсот лет назад. Мы многое вообще делаем по старинке. Может, даже слишком многое.

— Я ведь и так на экскаваторе, — ответил я тогда Витьке. — Вернее, в нем...

Витька усмехнулся. Он понял. Многие строители называют нашу бригаду «экскаватором». Не за плохую работу, конечно. За плохую работу таких названий не дают.

Прозвище это прилепилось к бригаде давно. Еще когда я бегал в пятый класс и после уроков лупил фискалов портфелем. А сейчас я уже учусь на первом курсе строительного института. На вечернем, конечно. Потому что днем надо работать ломиком. И опять же лопаткой.

Когда по вечерам нам читают очень уж занудные лекции, — я думаю. Думаю о том, какой машиной можно было бы заменить нашу бригаду. И ничего пока не могу придумать. Я понимаю только, что у этой машины должен быть электронный мозг и тонкие, хваткие, как человеческие пальцы, щупальца. Иначе ничего не выйдет. Даже самый изящный экскаватор в первый же день станет грудой лома, если он начнет делать то, что делаем мы.

Это потому, что мы работаем там, где лежат линии связи, где протянуты высоковольтные кабели, где глубоко под землей прячутся нервы города, которые надо пересекать новыми линиями водопровода или канализации.

Когда ведешь траншею вдоль кабеля — это не шуточки. По кабелю бежит ток. И напряжение приличное — каких-нибудь шесть тысяч вольт. Проткни такой кабель ломом — и от тебя одни угольки останутся. Даже «мама!» сказать не успеешь.

Такую бригаду, как наша, могли создать только бывшие саперы. И не случайно наш бригадир Китов работает с землей, как часовщик с какой-нибудь «Сурой» или «Лирой». На фронте он обезвреживал немецкие мины. Там не ломом работали. Там даже мизинец казался грубым оружием.

И еще полбригады у нас было на фронте. И тоже саперами. Это наши «старички». Им под сорок, а кому и больше. И плохо верится, что когда-то они были отчаянными парнями. Намного отчаяннее нас. Иначе не быть бы им живыми — такая уж она, саперская профессия...

Мы дружно живем с нашими «старичками». Нам нечего делить. В этом мире и им и нам хватает всякого — и хорошего и плохого. Мы не забываем, что им плохого досталось больше. Когда им было столько же лет, сколько сейчас нам, они ходили не на танцы, как мы. Они ходили на минные поля и в атаки. Но они ни разу не упрекнули нас этим. Мы ведь не виноваты, что родились поздно. Да и неизвестно, что еще выпадет на нашу долю...

Кое в чем у нас со «старичками» разные вкусы. Нам нравятся разные песни. И разные фильмы. И разные прически у девушек. Но мы никогда не ссоримся из-за

того, что у нас разные вкусы. Они не запрещают нам носить узкие брюки, а мы не смеемся над их широкими.

У нас, в общем, правильная бригада. И очень хорошо, что в ней половина «старичков». Еще неизвестно, что было бы со мной и с любым из моих сверстников, если бы мы начинали эту свою работу не рядом с саперами. Работа ведь та еще! Не зря же мы зарабатываем столько, сколько монтажники-высотники.

Для всех нас эти высокие заработки немало значат. У «старичков» — дети. У молодых — матери, сестренки, братишки. Среди молодежи нашей бригады нет ни одного, у кого был бы жив отец.

Я в бригаде самый молодой. И отца я лишился последним. Он умер два года назад от ран, полученных на фронте, от избиений, которыми «отделался» в Дахау.

Когда мы его похоронили, дядя Петя, его школьный и фронтовой друг, позвал меня в свою бригаду.

Я не хотел вначале идти в эту бригаду. Подумаешь — землекопы! Тоже мне — романтика!..

Но дядя Петя очень серьезно сказал:

— Ты не пожалеешь, Славка! Поверь мне, старику!.. Не пожалеешь!

И я поверил ему. Все-таки он фронтовой друг отца!.. И через день после выпускного вечера я взял уже в руки лопату и ломик. Тогда было, конечно, обидно. А сейчас уже привык. И даже нравится. И на самом деле не жалею!

Там, где мы работаем, всегда стоит вагончик. Наш, бригадный. Его возят за нами с места на место. Это очень удобно, когда есть вагончик. Удобнее всяких временок. Да на нас вообще-то временок и не напасешься. Мы — кочевники. Больше месяца редко работаем на одном месте.

В нашем вагончике есть все, что нужно, и нет ничего лишнего. Ни лишних вещей, ни лишних украшений. Плакаты и лозунги, которые почему-то иногда присылают нам из стройкома, мы не вешаем на стены. Мы разглядываем их, а потом стелем на стол перед обедом. Мы иногда целыми днями работаем в грязи. Может, именно поэтому нам очень приятно поддерживать чистоту в вагончике.

Однажды к нам приехал председатель стройкома и спросил, почему мы не вешаем на стены плакаты.

— А сколько плакатов висит у вас дома? — спросил его в ответ я.

Он ничего не ответил. Он рассмеялся.

Но мне этого показалось мало, и я спросил снова:

— А у вас в квартире есть стенд с социалистическими обязательствами стройтреста?

Он засмеялся еще сильнее и больше не спрашивал о плакатах. Мы думали, что он больше и не пришлет их. Но он почему-то по-прежнему их иногда присылает.

Однако кое-что на стенах нашего вагончика все-таки висит.

Возле окна приколоты кнопками две репродукции с картин Шишкина. Разумеется, не осточертевшее всем «Утро в сосновом бору», а просто хороший русский лес на закате. Эти репродукции приколот наш бригадир Евгений Иванович Китов. Лес — его слабость...

Когда-то, страшно давно, еще мальчишкой, он мечтал выращивать на земле леса. Даже учился в Лесном институте в Киеве. Но лесоводом так и не стал. Ушел с первого курса на фронт, а после войны все строил, строил, и учиться ему было некогда — жена, детишки, то, се...

Он сам рассказывал нам про свою жизнь в один из морозных дней, когда мы не могли работать и торчали в вагончике, отстукивая от нечего делать «козла». И все мы сочувствовали бригадиру и понимали, что теперь менять профессию поздно, потому что жизнь сложилась, детей много, и осенью мы уже справили его со-рокалетие.

С другой стороны окна в нашем вагончике до сегодняшнего дня был приколот портрет киноартистки Эллы Леждей. Ленька Степанов вырезал его из обложки журнала «Советский экран» и повесил в вагончике, потому что повесить его дома Ленькина жена не разрешила. Мы, конечно, не возражали. Элла Леждей и нам очень нравится. Красивая женщина.

Есть и еще одно украшение в нашем вагончике. Оно висит на стене против окна, в коричневой рамке и под стеклом. Это небольшая грамота, в которой говорится, что бригаде, руководимой Е. И. Китовым, присвоено звание коллектива коммунистического труда.

Эта грамота появилась здесь давно. Для меня

давно. И для Леньки Степанова. И для Федора Калугина. И еще для Олега Стрешнева. Потому что все мы пришли в бригаду уже тогда, когда трамонта висела. Ленька пришел из армии. Федор приехал из деревни. А мы с Олегом пришли из школы.

Я, в общем, понимаю, что такие грамоты не дают зря. Их не высидишь, как иную должность, на совещаниях, не выговоришь с трибуны и не выходишь, шатаясь по чужим кабинетам. Их нужно заработать руками. И потом.

Наши «старички» честно заработали эту грамоту. И поэтому им, конечно, тяжело снять ее теперь со стены. Но, если бы я был бригадиром, я бы все-таки сейчас ее снял. По крайней мере, до тех пор, пока не сдвинутся у двух членов нашей бригады какие-то шарики под черепной коробкой.

Сегодня мне стыдно глядеть на эту грамоту. Но я молчу. Не мне говорить о ней. Решать должны «старички». А они тоже молчат. Они вообще у нас неразговорчивые, когда что-то случается...

Мне кажется, я понимаю, почему они молчат. Просто привыкли к «показухе». Давно привыкли. Еще с молодости. Я не хочу их обвинять в этом — такое было время. А если к чему смолodu привыкнешь — отвыкать трудно. Это мне часто говорил отец.

Молчат наши «старички». И даже не глядят на грамоту на стене. И не разберешь по их лицам, что они думают. Даже у дяди Пети, которого я давно и хорошо знаю, обветренное, изрытое оспинами лицо ничего не выражает. Оно спокойно и невозмутимо, как будто ничего не случилось. Он неторопливо заворачивает оставшийся от обеда бутерброд, неторопливо вынимает сигарету, закуривает, и лицо его исчезает в облаке дыма.

... В прошлый вторник, когда все это начиналось, у наших «старичков» были такие же невозмутимые лица...

Мы работали в прошлый вторник в сараях. В обыкновенных индивидуальных сараях. Деревянных, крытых толем и шифером, новеньких, еще даже не потемневших, потому что и дом возле них был новым — только прошлым летом сдали.

Мы тянули под этими сараями канализацию к экспериментальному цеху одного научно-исследовательского института. Институт этот построили недавно, и когда-то наша же бригада вела к нему ветку водопровода. А теперь в этом институте конструируют кибернетические машины, и вот ему понадобился экспериментальный цех.

С утра шел дождь. Он то затихал, то начинался снова, и не было никакой надежды на то, что погода переменится. Небо было темно-серым, низким, без единого голубого просвета. Земля, которая еще не высохла от недавно сошедшего снега, размякла, расплавилась... В общем, понятно, какой бывает земля во время одного из первых апрельских дождей.

Такие дни положено активировать. Но у нас в бригаде не любят активировать дни. У нашего бригадира чаще всего есть в запасе какая-нибудь работа, которую можно выполнять либо в дождь, либо в сильный мороз.

В это утро Китов сказал, что мы будем тянуть канализацию под сараями.

Мы взвалили на плечи свой нехитрый инструмент и пошли к этим самым сараям. А потом, пока Китов бегал с комендантшей дома по квартирам и добывал у хозяев ключи, мы подтаскивали к сараям коричневые керамические трубы.

Все было так же, как и обычно бывает при такой работе. Складывали на одну сторону сараев хозяйское барахло — всякие доски, ржавые керосиновые бидоны и полусгнившие ящички для кошек. Потом рыли траншею и спускали трубы. К обеду мы успели уже в четырех сараях засыпать траншею и переложить хозяйские ящички и бидоны на прежнее место.

Полная, краснощекая комендантша бегала из сарая в сарай и ахала:

— Отродясь еще не видела таких строителей! Другие разроют и уйдут. И жди, пока зароят... А тут за один день...

Мы посмеивались и продолжали работать. Если бы был сейчас на участке наш суматошный мастер, мы оправдали бы худшие надежды этой толстухи-комендантши. Мастер не позволил бы закрыть траншею, пока трубы не будут опробованы. Он знает, что мы кладем линию на совесть, что мы не положим в траншею трес-

нувшую трубу и не забьем стык тряпкой или комком глины. И все-таки он боится закрывать траншею до испытаний.

Но мастер сидел в тот день в конторе участка и копался в нарядах. Он не любит ходить по объектам в дождь. А нам стыдно перед людьми оставлять сарай разгромленными. Поэтому мы закрыли траншею, чтобы не мучить людей еще добрых две недели.

Когда прибежали на обед хозяева и заглянули в свои сарай, мы снова наслушались всяких «ахов» и разговоров о том, что здесь еще не видели таких строителей. А один деятель в синих галифе и расстегнутом синем плаще с ходу взял быка за рога и предложил нам не заниматься после обеда траншеей, а вырыть у него в сарае погреб. Больше, мол, заработаем.

Я поглядел в его рыхлое, испитое лицо, в его маленькие, заплавленные глазки и подумал, что он, должно быть, «руководит» какой-нибудь базой или складом и ему, бедняге, негде хранить ворованные продукты.

Разговаривать с ним мне не хотелось. Я опустил голову и снова заработал лопатой. И в это время Ленька Степанов, выпрямившись во весь свой «пятый» рост, откинул со лба русые волосы и на полном серьезе спросил:

— А сколько дашь за погреб?

«Пожалуй, это мысль! — подумал я и снова поднял голову. — Его можно красиво разыграть. Молодец, Ленька!»

— А сколько бы вы взяли? — спросил в ответ деятель.

— Смотря какой погреб, — уклончиво ответил Ленька.

Я глядел на него и боялся, что он рассмеется раньше времени и выдаст себя. Но он ничего — держался все так же, на полном серьезе.

— Ну, какой! — уже уверенно, по-деловому произнес деятель в синих галифе. — Обычный. Два на три. Да в глубину два. С покрытием. — Он усмехнулся. — Для продуктов. Не от бомбы. Такие погреба обычно за тридцатку роют.

— Это в деревне да в мягкой земле, — очень серьезно вставил Федор Калугин и остановился передохнуть,

воткнув лопату в землю. — А тут погляди, что за земля!.. Кирпич да железо! Стройка ведь!

— Твоя правда... — Деятель сдвинул фуражку на лоб, почесал затылок. — Конечно, ежели землю учсть да быстро сделаете — червонец можно наикнуть.

«Завелся!» — обрадованно подумал я и подивился только серьезности Федора Калугина, обычно прыскавшего при каждой шутке.

— Значит — сорок? — уточнил Ленька.

— Выходит, так, — согласился деятель.

— Мало!

— Почему?

— У нас качество отличное. Ни доделок, ни переделок.

«Молодец, Ленька!» — снова подумал я и поглядел на остальных членов бригады. Все, кто был в нашем сарае, уже не работали, стояли спокойно, опершись на лопаты, и слушали. Из «старичков» здесь были только дядя Петя и Зотов. И лица у них были спокойные, невозмутимые. Я позавидовал им. Умеют ведь! А я вот-вот расхохочусь и все испорчу.

— Ну, а если еще на две полбанки накину? — уже неуверенно спросил деятель.

— Это уже другой разговор, — ответил Ленька и удовлетворенно улыбнулся. — Это можно принять за основу.

— И мне бы такой же погребок, ребята! По той же цене! — Из-за спины деятеля высунулся тщедушный дядя с большими обвисшими усами и красноватым носом. — А то огурчики хранить негде. А без рассолу в нашем деле как же?

Он растянул губы и улыбнулся. Но никто не улыбнулся ему в ответ — один только я. Потому что мне все еще было очень смешно.

Деятель в галифе заволновался, повернулся к усатому.

— Ты, Лексеич, подожди. Я с ребятами первый сговорился. Сделают мне, потом — пожалуйста.

— Так я что? — оправдывающимся тоном произнес Лексеич. — Я ведь вперед не лезу. Я и подождать могу. Завтра — так завтра... Да вы не сумлевайтесь, ребята. — Он снова повернулся к нам. — Работка найдется. По-

читай, каждому третьему погребу нужны... Только начните — сами набегут.

— Ну, давайте продолжать, что ли... — сказал Зотов, обращаясь к нам, и взялся за лопату. На «заказчиков» он даже не взглянул.

Мы молча взялись за лопаты. Земля полетела назад, в траншею, хороня коричневые трубы.

— Как же погреб-то, ребята? — забеспокоился деятель в галифе.

— Адресок оставь, дядя, — бросил ему через плечо Ленька Степанов. — Потом с погребом выясним.

— Из пятнадцатой квартиры я, — сказал деятель. — На третьем этаже. Коротков фамилия. — Он помолчал, потоптался, потом спросил: — Когда зайдете-то?

— Жди, дядя! — бодро ответил ему Ленька. — Будет тебе кофе, будет тебе и какава.

— И меня не забудьте, ребята, — добавил усатый водопроводчик. — Я в двенадцатой живу. Лексича спросите.

— Спросим, будь спок! — отозвался Ленька и отвернулся. Видно, ему этот розыгрыш уже надоел. Мне, вообще-то, — тоже.

«Хозяева» потоптались еще немного и, вежливо попрощавшись, ушли. Мы, не останавливаясь, работали до тех пор, пока не закидали в этом сарае всю траншею и не выкинули из него оставшуюся землю. А потом мы прошли мимо соседнего сарая, где с частью нашей бригады работал Китов, и забрались в крайнюю деревянную клетушку, где траншея была уже почти готова.

Здесь мы закурили, и Федор Калугин негромко, как бы размышляя, спросил:

— А что, если и вправду сейчас мужикам погребу вырыть?

— Да ты что, Федор?

Это отозвался Олег Стрешнев, самый тихий парень в нашей бригаде. Он обычно молчит и каждую свободную минуту читает книжки. Даже в «козла» из-за этого редко играет. Дважды он не прошел на истфак университета по конкурсу и вот теперь все читает исторические повести и брошюры, чтобы знать, как он говорит, «вдесятеро против программы». В армию его не взяли — малость хромает. И на танцы, понятно, не хо-

дит. И девчонок знакомых у него почти нет. В общем, не повезло парню.

— А что — «что»? — Калугин спокойно повернул к Олегу широкоскулое, круглое и румяное лицо. — Ты мальчишка еще, и девок у тебя нет. Вот ты и не знаешь цену рублю. А у нас ведь семьи...

Мы-то знали, что семья у Калугина невелика. Детей нет, жена в деревне. А он вот живет в общежитии и никак не решается снять частную квартиру и взять жену к себе. Говорит — дорого просят...

— Так ведь можно любую подлость оправдать, — негромко, но как-то очень напряженно сказал Олег.

— Ты уж, правда, Федя... того... — Дядя Петя сделал последнюю, самую глубокую затяжку, втоптал окурок в землю и, подхватив лопату, пошел к траншее.

Мы тоже закурили сигареты и взялись за лопаты. И Калугин взялся. И разговаривать нам было больше некогда. Только перебрасывались короткими словами, когда нужно было подавать и укладывать трубы. И лишь во время следующего перекура Олег Стрешнев снова вспомнил о погребках и похвалил Леньку Степанова за хороший розыгрыш. Ленька ничего не ответил — только усмехнулся.

А потом мы закончили работу в сараях, вывели траншею и трубы на свободное место, и, взглянув на часы, я увидел, что переработали мы всего только двадцать минут. Но это было неизбежно, потому что на другой день мы уходили к театру, где нужно было срочно вырыть тоннель под центральной улицей. И, понятно, мы должны были здесь все закончить, чтобы ни одному человеку не оставить развороченный сарай.

Мы медленно шли к своему вагончику, и Зотов негромко рассказывал бригадиру и тем, кто работал с ним в одном сарае, как соблазняли нас рыть погреба и как удачно поторговался с хозяевами сараев Ленька. Бригадир устало улыбался, и все улыбались, и только Калугин да Ленька Степанов шли сзади, тихо разговаривали и не принимали участия в общем веселье.

Дождя уже не было, и крыши подсохли, но небо было ровно-серое, тяжелое. Не угадаешь, как оно поведет себя через час. То ли поглубеет, то ли просеется мелким и нудным дождем.

Возле вагончика Китов опустил свою лопату и, пока Зотов открывал замок, сказал нам:

— Завтра, если ведро, прямо к театру приходите. Инструмент я привезу. Будем готовиться.

Зотов, наконец, снял замок и вошел в вагончик. Бригадир поднялся за ним по лесенке и, обернувшись к нам, добавил:

— И берегите силы, ребята. Ничего лишнего в эти дни не делайте. Ночью, когда под землей пойдем, перекуров не будет.

Он тоже вошел в вагончик и стал принимать у нас инструмент.

Тоннели наша бригада рыла давно. И лучше любой другой бригады в городе. Собственно, другие бригадиры учились этому делу у Китова. А он умел с фронта.

При мне рыли только два тоннеля. А всего их было за бригадой десятка полтора.

С теми тоннелями, что рыли при мне, было просто. Их вели под боковыми улицами. И движение по этим улицам перекрывалось, хотя покрытие их мы не трогали. А теперь предстояло пробить тоннель под центральной улицей. Она широкая, и по ней ходит троллейбус. В объезд его не пустишь. Поэтому и решено было сделать все за ночь. Пока троллейбусы в парке.

На подготовку нам давали два дня. И мы готовили все добросовестно, до последней мелочи, чтобы в ночь нас ничто не задерживало. Мы даже трубу попросили сварить заранее, чтобы не было сварки под землей.

В пятницу, к двенадцати ночи, выпавшиеся, бодрые, мы уже были на месте, разобрали свои скarpёлы — короткие ломики с лопатками на конце, надели удобные шахтерские шлемы с фонарями и ждали последнего троллейбуса.

Приехал управляющий трестом, грузный, мрачный, в кожаном пальто. В свете прожекторов его гладко выбритое лицо казалось до синевы бледным, и я почему-то вспомнил, что у него уже был инфаркт и что врачи вообще запретили ему работать на стройке. Обо всем этом немало говорили у нас в те осенние месяцы, когда он лежал в больнице и его замещал главный инженер. Все думали, что управляющий на работу не вернется. Но он вернулся и уже по-страшному ругал тех,

кто, боясь за его сердце, скрывал от него какие-то неприятности.

— Мое сердце любую правду вынесет, — как-то сказал он на совещании при Китове. — Оно только лжи не выносит.

Но от него все равно многое скрывали. Видно, такова уж планида тех, кто перенес инфаркт и остался на прежней работе.

Управляющий подошел к нам, поздоровался, угостил «Казбеком».

— Сам теперь не курю, — сказал он. — А без папирос в кармане не могу.

Мы закурили. Он стоял рядом, барабанил пальцами по коробке.

— Может, людей подкинуть, Евгений Иванович? — спросил он Китова. — Все-таки пять часов мало...

— Хватит, Сергей Ефимыч! — отозвался Китов.

— А то смотри, — сказал управляющий. — Тут недалеко бригада Ачина в ночь работает. Снимем, пришьем — хоть всю...

— Обойдемся. — Китов улыбнулся. — Спасибо, Сергей Ефимыч... У нас все рассчитано.

Последний троллейбус прошел без пяти час, и Зотов тут же поднялся с трубы, вышел вперед и воткнул свой скарпель в земляную стенку под асфальтом. И мы ждали, пока он отработает свои десять минут, потому что тоннель должен был быть очень узкий, и второй человек, даже сейчас, в самом начале, только мешался бы. А потом, когда тоннель пойдет, ему и вообще невозможно будет встать рядом, второму-то человеку.

Вначале мы работали скарпелями по десяти минут — до тех пор, пока тоннель не ушел вглубь на два метра. А потом мы менялись через пять минут.

Каждый шел на переднее место, как в атаку. И отдавал короткому ломику все свои силы. Потому что это самое трудное дело — долбить землю ломиком. Откидывать ее легче. Откидывая ее лопатами из тоннеля, мы отдыхали. И пока мы перекидывались лопатками земли и устанавливали крепления, передний выкладывался на полную катушку.

С другой стороны улицы было то же самое. Такие же прожекторы на фонарных столбах и такой же порядок. Вторая половина бригады шла навстречу нам.

Мы должны были встретиться под землей. И для этого передний должен был ровно держать линию. Иначе можно уйти в сторону. И тогда уже за ночь не успеешь. А задержат утром троллейбусы — это хуже нет. Такого в нашей бригаде еще не бывало. Людей мы не подводим.

Я был свеженьким, как огурчик, в начале этой ночи. Я даже не колол дома дров в эти дни: берег силы.

Поэтому мне легко было работать. И я очень удивился, когда заметил, что Ленька Степанов работает как-то не так. Не то чтобы лениво — он никогда не был сачком. А очень уж устало. Как бы через силу. А ведь Ленька — здоровый парень. Дай бог каждому! И когда на переднем месте он выдыхался на третьей минуте и еле совал своим ломиком в землю — это было необычайно. Совершенно необычайно!

— Ты что, болен? — спросил я его, когда он пробирался к выходу.

— Нет, — ответил он. — Просто устал.

Когда он пошел на переднее место в следующий раз, он работал минуты две. Не больше. А потом вдруг глухо вскрикнул и упал. И луч его фонаря уперся в верхний свод тоннеля.

Я был к Леньке ближе всех. И поэтому я схватил его под мышки и поволок к выходу. Выйти пришлось всем, кто работал сзади, потому что тоннель был узкий. Я тащил Леньку, не понимая, что с ним произошло, и не успев спросить его об этом. Впрочем, разбираться можно было потом. Вначале надо было вытащить.

Зотов подхватил его под ноги, как только я дотащил его до края тоннеля. Но Ленька сейчас же вскрикнул:

— Нога! Отпустите ногу!

И Зотов невольно отпустил обе, потому что не знал, о какой ноге говорит Ленька.

Мы прислонили Леньку к груде креплений, и он негромко сказал:

— Правую задел, черт возьми!

Дядя Петя нагнулся и закатал штанину. Она была в крови. И по волосатой Ленькиной ноге текла кровь.

— Я за водой! — сказал я и выбежал на площадь. Но где взять воду — я не знал. Театр закрыт. Ночь. Поч-

тамт возле театра — тоже закрыт. И уж, разумеется, никто не впустит меня ночью за водой в универмаг.

Идиотское положение. Мы пробиваем тоннель для водопровода, а банку воды взять негде.

Оставался жилой дом. Будить людей среди ночи не хотелось, но что делать? Я кинулся в ближайший подъезд, позвонил в квартиру.

Ждать пришлось долго. Наконец мужской голос спросил из-за двери:

— Кто там?

— Вынесите банку воды, — попросил я. — Мы здесь рядом работаем. У нас несчастье.

— Расскажите это своей бабушке.

Человек за дверью хихикнул. Послышались удаляющиеся шаги. Хлопнула дверь в коридоре. Я понял, что воды не будет.

В другой квартире на звонок просто не откликнулись. В третью я звонил уже безо всякой надежды. Но именно здесь здоровенный парень в трусах и майке-безрукавке вынес мне кастрюлю воды и сказал вдогонку:

— Кастрюлю верни, хлопец!

Когда я прибежал, возле сваренной трубы уже стояла двухтонка. Видно, кто-то остановил ее на перекрестке.

Вода была кстати. Рану промыли, обмотали носовыми платками. Наступить на ногу Ленька не мог, и мы на руках донесли его до кабины грузовика.

Я подумал, что у него, наверно, перелом, и открытый, и негромко спросил его перед тем, как захлопнуть дверку:

— Как же это ты, а?

— Лом выскочил, — ответил Ленька.

Дядя Петя забрался в кузов. Он поедет с Ленькой. Китов говорил шоферу:

— Ты, парень, сейчас прямо в хирургическую. А потом, если понадобится, домой его подбрось. И сопровождающего сюда привези. Работа срочная. Каждый дорог... А мы тут тебе пока соберем...

— Не надо. И так сделаю!..

Шофер забрался в кабину, захлопнул дверку. Машина тронулась.

Я посмотрел ей вслед и побежал относить кастрюлю.

Мы работали после этого так же деловито и на-

пористо. Но что-то было утеряно. Какой-то ритм, темп или настроение — черт его знает что. В общем, дело шло медленнее, и я уже понимал, что до шести нам не успеть.

Мне повезло. Я первым ткнулся в пустоту и развалил тонкую стенку, которая разделяла оба тоннеля. И Олег Стрешнев, который работал на той стороне и пробирався в это время в свой черед на первое место, сказал мне, что о Ленькиной беде они уже знают и что у них тоже плохо — вышел из строя Калугин.

— А что с ним?

— Просто выдохся. Лом из рук валится. Пришлось поставить на откидку.

Я читал у Горького, как обнимались и целовались люди, которые встретились в глубине Симплонского тоннеля. Конечно, это очень красиво. Но у нас не было под землей ни объятий, ни поцелуев. Нам было некогда. Да и просто не до того. Я еще вытирал со лба пот, а сзади уже передавали из рук в руки конец гросса, которым трактор втянет в тоннель трубу.

Мы даже не ставили в центре тоннеля креплений. Некогда! Все уже понимали, что не успеть до шести. И поэтому, не сговариваясь, рисковали. Но обвала не было. Хоть в этом нам повезло. А потом из рук в руки пошли ведра с песком, и мы забили им середину тоннеля в первую очередь, пока она не обвалилась, и медленно стали отступать к выходам, забивая песком метр за метром.

Когда я выбрался наружу, чтобы стать в свою очередь на легкую работу — у кучи песка, — было уже светло. Дядя Петя передавал ведро у входа в тоннель. Я задержался возле него.

— Как Ленька? — спросил я.

— Кость цела, — сказал дядя Петя. — Через день пойдет.

— Он в больнице?

— Домой отвез.

Я улыбнулся ему, взглянул на часы и пошел к песку. Время поджимало — полшестого. Китов стоял в цепи вместе со всеми и передавал ведра с песком. Наверно, он сейчас жалел о том, что отказался вечером от бригады Ачина.

В шесть мы еще работали. И в полседьмого — тоже.

Троллейбусы длинной очередью стояли в квартале от нас. В нашем городе — только одна троллейбусная линия. Она идет с одной заводской окраины на другую. Мы перерезали эту линию как раз в середине.

Люди выходили из троллейбуса и шли дальше пешком. И с другого конца города тоже шли пешком люди. Они шли на свои заводы. Многие ведь живут на одном конце города, работают на другом.

Люди шли злые. Кому приятно опаздывать? Да еще на полчаса или на час...

Когда люди проходили мимо нас, они понимали, в чем дело, и отпускали всякие соленые шуточки.

Мы не отвечали. Мы старались не глядеть на проходящих мимо. Мы просто работали.

Приехал главный инженер треста. И я сразу подумал, что управляющему сказать побоялись и вот разбудили главного...

Он поговорил в сторонке с прорабом, махнул рукой, сел в машину и уехал. Я понял, почему он махнул рукой. Он уже ничего не мог изменить. Никто ничего не мог изменить. Потому что мы кончали. Через десять минут троллейбусы пойдут. От силы — через пятнадцать. Изменить что-то можно было еще два часа назад. А сейчас уже поздно. Тысячи людей все равно уже опоздали на работу.

Мы шли домой с Олегом Стрешневым по звонким утренним улицам и перекидывались редкими, усталыми фразами. Ни он, ни я не могли понять, почему все это произошло, почему Ленька и Калугин вышли из строя, почему у них ломы валились из рук. Мы готовы были приписать это чему угодно: болезни, Ленькиной жене или какой-нибудь неизвестной нам девочке Калугина, — но только не тому, что было на самом деле.

А о том, что было на самом деле, мы узнали лишь сегодня, в понедельник, когда собрались утром в своем вагончике.

Сегодняшний день начался у нас обычно, как сотни других дней. Пришли, выкурили по сигаретке, расспросили Олега Стрешнева и Зотова, которые были вчера у Леньки.

Они сказали, что у Леньки все в порядке, что он уже ходит с палочкой по комнате. Мы с дядей Петей тут же решили, что сегодня после работы зайдем к

нему. Благо, тут близко, всего квартал, долго не собираться...

Потом мы спустили на землю ломики и лопаты. Пора было идти к траншее, которую мы вели еще неделю назад, до дождя, до того, как прокладывали трубы под сараями.

И вдруг подбегает к вагончику худенькая, немолодая уже женщина, хватая за рукав Федора Калугина и выпаливает:

— Милый ты мой! Хорошо, нашла вас! Мне-то ведь тоже погреб нужен! А то всем пьянчугам вырыли, а я только вчера деньги достала. Зайди уж сегодня, сговоримся. Я в третьей квартире живу. Торосову спросишь... Зайдешь, касатик?

Федор стоит внизу — он принимал наш инструмент — и на глазах покрывается краской. Особенно уши. Прямо как два спелых перца выглядывают из-под светлых волос.

Мы стоим у раскрытой двери вагончика и молча смотрим на Федора и на эту женщину. А она еще ничего не замечает и спрашивает его:

— Один придешь или со вторым хлопцем? У вас вместе-то быстрее получалось... Когда ждать, сынок?

И тогда наш бригадир спустился по лесенке и спокойно сказал этой женщине:

— Вы сейчас, гражданочка, идите домой. Зайдем мы в вашу третью квартиру. Зайдем и сговоримся.

И женщина подняла голову, оглядела всех нас, увидела, как молча, не улыбаясь, смотрим мы на нее и на покрасневшего Федора, и вдруг чего-то испугалась, отодвинулась от бригадира и быстро пошла к тому дому, возле которого мы во вторник работали. И несколько раз боязливо оглянулась на нас.

А мы еще немного постояли молча и пошли к своей траншее. Я почему-то сразу же подумал, что Федор рыл погреб с Ленькой Степановым. И другие, кажется, так же подумали. И только дядя Петя, видно, еще не хотел этому верить, потому что негромко спросил:

— Это с кем же ты там вкалывал, Федор? С Ленькой, что ли?

Федор промолчал, и дядя Петя спросил снова, уже громче:

— Ну, что молчишь? Говори!

— С ним... — сказал Федор, глядя себе под ноги.

И теперь все уже поняли, почему Ленька разбил себе ногу, почему именно у него и у Федора валялись ломы из рук в ту ночь. Они у любого другого валялись бы после такой работы...

Мы молча повели траншею дальше, и только наш бригадир Китов куда-то ушел. Его не было с час, а затем он вернулся и до обеда работал вместе с нами. И во время перекуров мы ни словом не обмолвились о Леньке Степанове, о Калугине и о погребках. Мы говорили о чем-то обычном и постороннем, о чем говорим во время перекуров каждый день.

Однако я почему-то все время думал об этой истории с погребками и о том, что из нее вышло. И представлял себе, как этот деятель в синих галифе будет по пьяному делу хвалиться своим друзьям тем, что погреб ему вырыли сговорчивые ребята из одной бригады коммунистического труда. И как дружки его будут ухмыляться и поддакивать:

— Знаем мы эти бригады. Видимость только одна. Рублем-то кого хошь прошибить можно.

У наших «старичков» были, как всегда, непроницаемые лица. Не угадаешь, о чем думают «старички». Но мне кажется, они не могли не думать о том же, о чем думал я. И, наверно, им было еще обиднее, чем мне.

В обед, как обычно, мы жевали в вагончике свои бутерброды и запивали их кто чаем из термоса, кто молоком из бутылки. Я тоже, как обычно, запивал свои бутерброды лимонадом. Очень люблю лимонад!

Мы молча жевали свои бутерброды, и в это время распахнулась дверка вагончика, и над его полом показалось Ленькино лицо.

— Помогите, братцы! — сказал Ленька и улыбнулся. — Мне одному не залезть.

Зотов сидел к двери ближе всех. Он встал и протянул Леньке руку. И Ленька кинул в вагончик палочку и медленно забрался по лесенке. И сел на табуретку возле печки.

— Как нога? — спросил Китов.

— Нормально, — ответил Ленька. — Были бы кости — мясо нарастет.

Он зачем-то оглядел вагончик, будто не был здесь очень долго, и сказал:

— Соскучился вот. Хорошо — недалеко. Доковылял.

— Кстати... — отозвался Китов.

Ленька улыбнулся. Но никто не улыбнулся ему в ответ. И он заметил это и спросил:

— Что это вы носы-то повесили? Расценки, что ли, снижают?

Бригадир сунул в печку бумагу от бутербродов и негромко произнес, как бы не замечая Ленькиного вопроса:

— Я был утром в этом доме. Где погреба рыли... Жильцы хвалят... — Бригадир усмехнулся. — Говорят — чисто сделано. Сразу, мол, видно, что хорошая бригада...

У Леньки вытянулось лицо, вздрогнули ноздри, и он стал глядеть в пол. А бригадир прихлопнул ладонью по стеклу и поглядел в окно. Я тоже поглядел в окно. На улице было грязно, потому что вчера опять прошел дождь. Прохожие на перекрестках пробирались на цыпочках и иногда даже прыгали, выбирая места посуше. Противная погода, эта слякоть — хуже не придумаешь. К осени на этой улице должно быть чисто и сухо. Вот закончим свою ветку, протянем по правой стороне ливневый коллектор — и сразу вся вода с улицы уйдет. А потом ее заасфальтируют, и будет здесь, как в центре. Только мы в это время будем работать уже на другой улице. Вероятнее всего, на той, где еще нет асфальта.

А потом я вдруг увидел рядом с окном портрет Эллы Леждей, который повесил в нашем вагончике Ленька. Конечно, Элла Леждей — очень красивая женщина, и на нее приятно смотреть. Потому что нет, наверно, на земле красоты более совершенной, чем красота женщины. Но мне все-таки стало тошно оттого, что этот портрет повесил в нашем вагончике именно Ленька. С какой стати он тут хозяйничает? По какому праву?

Я поднялся и сорвал со стены портрет Эллы Леждей. А Олег Стрешнев молча отколупнул перочинным ножом кнопки. Чтоб и следа не было.

Если понадобится, мы повесим здесь портрет сами. Пусть той же самой Эллы Леждей или какой другой артистки, еще по красивее, или просто свойских парней —

Гагарина с Поповичем. Но повесим эти портреты мы — «старички» и молодые, которые имеют на это право.

Мы не устраивали собраний и не говорили больше об этой грязной истории. И так ведь ясно! И только по дороге домой я все думал и думал о том, что в нашем вагончике осталась висеть грамота, на которую мы теперь не имеем права и снять которую я не могу, а «старички» не хотят.

Проходит два дня. Мы по-прежнему работаем и по-прежнему говорим о чем угодно, кроме того, о чем так и не поговорили по-настоящему. Мы тянем траншею все дальше и уже соединили нитку труб с участком, проведенным под сараями. Завтра мы выйдем с другой стороны сараев и потянем последний участок — прямую до экспериментального цеха.

Никто и нигде до сих пор не ругал нашу бригаду за то, что мы задержали троллейбусное движение. Даже наоборот — многие нам сочувствуют и спрашивают о здоровье Ленки. Никто ведь не знает об этих погребках. И мы тоже никому не станем рассказывать...

Сегодня в обед к нам в вагончик прибежала секретарша из трестовского стройкома. Симпатичная такая конопатая девчонка с челочкой на лбу и стройными ножками.

Она положила на стол большой синий кулек и сказала:

— Это для вашего Степанова. От стройкома. И передайте ему — пусть поскорее выздоравливает.

Олег Стрешнев сначала пялил глаза на секретаршину ножку и торопливо дожевывал бутерброд. А потом попытался задержать ее и даже, кажется, заговорил о свидании. Но она отмахнулась от него, спрыгнула на землю и побежала к автобусной остановке. Наверно, у нее есть к кому ходить на свидания...

Китов развернул кулек. В нем были апельсины, мандарины и всякие конфетки-шоколадки. Как для детишек на новогодней елке.

Бригадир завернул кулек снова и отодвинул его к окну.

И тогда Зотов встал, молча снял со стены коричневую рамку с грамотой и сунул ее в шкафчик.

— Ты чего это вдруг, Михалыч? — спросил его дядя Петя.

— Запылилась грамотка, — ответил Зотов. — Пусть полежит.

— Правильно! — поддержал его бригадир. — По новой начинать надо!

И я подумал, что все, в общем, получается правильно. Чтобы по-настоящему ценить какие-то вещи, надо заработать их своим горбом. У своего хлеба — и вкус другой...

Медленный вальс

Мы танцуем с тобой медленный вальс. Крутится на проигрывателе новая пластинка. Сербская женщина тихо и грустно поет о любви.

Наши друзья танцуют рядом. Наши друзья сидят за столом. Наши друзья курят в коридоре. Ты никогда не думал, почему друзья любят собираться именно в нашем доме?.. Ведь квартиры у них не хуже...

Наверно, не думал. Тебе ведь некогда. Ты давно уже принимаешь все как должное. А когда-то всему удивлялся. Помнишь?..

Однажды я принесла к тебе немного картошки и зажарила ее, пока тебя не было дома. И ты радовался этой картошке, как мальчишка, когда пришел со стройки усталый, в залепленных грязью сапогах. Ты даже прыгал от радости вокруг стола. Не забыл, а?..

Забыл, наверно... Жареной картошкой тебя сейчас не удивишь... А тогда она была для тебя маленьким чудом. Как просто было тогда творить чудеса! В первый раз чудом для тебя было даже то, что я приехала сама, не дожидаясь твоего звонка, и занималась в твоей комнате, за твоим столом, пока ты не вернулся со стройки. Ты тогда вошел и вытаращил глаза: «Вот это здорово! Молодчина!»

А потом уже ты к этому привык, это перестало быть для тебя чудом, и мне пришлось придумывать новые. Потому что не придумывать для тебя что-то приятное я просто не могла.

Сегодня десять лет, как мы вместе. И все эти годы

я придумываю для тебя новые и новые маленькие чудеса. А это иногда нелегко!

Сейчас, десять лет спустя, мне, конечно, кажется чепухой то, что я приходила к тебе сама, что я уезжала от тебя с последним автобусом. А в то время это не было для меня чепухой...

Мой родной город был для тебя лишь эпизодом. Приехал — построил ТЭЦ — уехал... А я там родилась, там выросла. Я знала там очень многих, и меня знали многие... Я была там комсомольским секретарем большого завода. А ты ведь сам понимаешь — с секретарей спрос особый...

Помнишь, ты все смеялся и называл меня «дитя завода»?..

Когда мы с тобой уже были друзьями, меня назначили замполитом школы ФЗО. Это была большая школа — почти полтысячи учеников. Как часто, когда я ехала вечером к тебе, кто-нибудь из них встречал меня в автобусе и спрашивал:

— Вы опять в город, Валентина Петровна?

Они ведь все знали, что я живу в поселке...

А потом в нашем поселке узнали еще и то, что в Москве у тебя есть жена...

Маленький городишко... В нем удивительно быстро узнаются подобные вещи. Потому что ими очень интересуются. В нем ничего не спрячешь...

Я-то, впрочем, и не пряталась. Я любила тебя так, что мне было все равно, о чем говорят за моей спиной.

В нашем городе тогда, наверно, никто не знал, почему ты приехал, а твоя жена — нет. Я знала... Но я никому ничего не объясняла. Никому! Даже матери. Ты говорил, что жена никогда не придет к тебе. А я думала, что если даже она вдруг и придет, я ни в чем не буду винить тебя. И ни о чем не буду жалеть... Я тогда не раз утешала себя: горя бояться — счастья не видеть!..

Я до сих пор не понимаю, почему она отпустила тебя так легко, почему не боролась за тебя. Чтобы отпустить так легко — нужно совсем не любить. А если не любила, зачем было выходить замуж?

Ты помнишь, когда мы жили в Сибири, на вашей стройке появилась новая геодезистка?.. Ее-то ты, конечно, помнишь!.. Думаешь, я не знаю, что ты ею увлекся?

Думаешь, я не знаю, что ты даже хотел уходить из семьи? Тебе казалось, никто не замечает, как ты по вечерам смотришь на спящего сына?..

Ох, Витька, до чего трудно мне тогда было! Если бы ты только знал, до чего трудно! Казалось — жизнь кончается. Она ведь была моложе, эта геодезистка. Она была стройнее. И вообще тебе больше нравятся светленькие, я знаю... Я тогда совсем потеряла голову. Даже целый день всерьез собиралась перекраситься. Представляешь?

А вообще-то я тогда отчаянно боролась за тебя. И ты понял, где настоящее... Но, наверно, ты до сих пор не понял, как я это сделала. И я никогда не расскажу тебе. Никогда! Это умрет со мной. Это моя тайна, Витька. Единственная моя тайна от тебя...

Видно, тебе нравится этот медленный вальс. Ты снова ставишь его, и мы опять танцуем вместе. Я рада, что этот вальс тебе по душе. Когда я покупала пластинку, я очень хотела, чтобы она стала для тебя очередным маленьким чудом. Тебе ведь некогда самому зайти и выбрать пластинки. У тебя почему-то всегда не хватает времени на то, что связано с твоим отдыхом. Чтобы заставить тебя хоть немного отдохнуть, я всегда что-то изобретаю.

У тебя ведь по-настоящему трудная работа... Ты говоришь о ней — «интересная». Но я-то уже знаю, что такое монтаж железобетона и стальных конструкций. Я не только видела его на твоих строительных площадках. Я все твои журналы прочитываю, когда тебя нет дома. Конечно, я и сейчас кое-чего в них не понимаю, но за десять лет все-таки можно понять главное. Не зря же ты советуешься со мной, когда что-то усовершенствуешь. Ты, наверно, и не задумываешься над тем, почему со мной можно советоваться о таких вещах?.. Сам ты, грешным делом, до сих пор не взял в руки ни одного моего педагогического журнала. Впрочем, они тебе и не очень нужны. Ты прекрасно чувствуешь педагогику и без них. Наверно, ты был бы неплохим учителем, если бы твоя жизнь сложилась иначе. С тобой ведь всегда можно посоветоваться, когда что-то не ладится даже в самых специальных вещах...

Постой-ка!.. А может, это вовсе не от природы? Может, ты тоже почитываешь мои журналы, когда я про-

падаю на родительских собраниях и педсоветах? Я почему-то раньше не думала об этом...

Какие у тебя добрые губы! Большие, по-детски пухлые... Мне когда-то, страшно давно, казалось, что человек, работающий с металлом и железобетоном, должен быть суровым, обветренным и губы у него должны быть сухими и тонкими. А у тебя еще нет ни одной складки на щеках, ни одной морщины на лбу. Говорят, они появляются не только от ветров. От ветров я не могла бы тебя уберечь. Говорят, они появляются еще и от горя. А горе — это когда трудно и один. Нам нередко бывало трудно. Но ведь мы всегда вдвоем...

А помнишь, как ты плакал из-за того, что мы поздно встретились, из-за того, что твоя юность прошла без меня? Помнишь?.. Ты тогда был очень слаб и поэтому, наверно, мог плакать. Я потом никогда не видела твоих слез. Ни разу. Мне кажется, ты больше и не сможешь...

А как я перед этим ревела! В тот вечер, когда после операции мне сказали, что положение у тебя тяжелое, почти безнадежное... Я не решилась тогда даже вернуться домой. Мама бы все поняла... Я ушла к тебе, в твою комнату, и ревела там. А потом выпросила отпуск и три недели не вылезала из больницы. Пока тебе не стало лучше.

Ты, наверно, тогда даже не понимал, почему тебя перевели в двухместную палату, почему на второй койке в этой палате спала я. Тебе, наверно, казалось, что так и надо. А если бы ты знал, как долго я уговаривала врачей! Они ведь считали, что все бесполезно.

Помнишь, ты все сердился на меня за то, что я много смеюсь и даже рассказываю сестрам анекдоты? Тебе, наверно, казалось кошунством смеяться рядом, когда тебе так невыносимо больно. А я выходила в коридор и с лихвой отплакивала там весь свой смех. Но если бы я тогда не смеялась, что было бы с нами, Витька?..

Ты только через две недели после операции стал что-то по-настоящему понимать и вот пожалел о тех годах, которые прожил без меня. И мне не нужно было другой благодарности...

Как раз в этот день я покупала для тебя на рынке молоко и встретила там директора своей школы ФЗО. У него бегали глазки, и он сказал, что мое поведение собираются обсуждать на партбюро.

— За что? — спросила я.

Он возмутился.

— Вы открыто живете в больнице с женатым человеком и еще спрашиваете — за что! Воспитатель молодежи сам должен быть безупречен!

Мне очень хотелось дать ему по морде. Но я побоялась, что выроню банку с молоком. Поэтому я сказала ему только, что считала его раньше мужчиной и что, как вижу теперь, ошиблась. И ушла, не попрощавшись. И была очень рада тому, что через месяц нашу школу расформировали. Все равно я не смогла бы больше работать с этим директором.

...Ты в третий раз ставишь ту же пластинку. Конечно, мне это очень приятно. Но не кажется ли тебе, что я уже устала и что вообще не очень прилично танцевать так долго со своей женой? Нельзя же, мой друг, забывать о друзьях! Все-таки не мы у них, а они у нас...

Интересно, а о чем ты сейчас думаешь? Ведь мы все время танцуем молча. Я знаю, последние месяцы ты все время думаешь о креплении железобетона. Хочешь найти новый способ крепить балки и плиты. Нынешний кажется тебе долгим и ненадежным. Ты способен искать этот свой новый способ и за едой, и в театре, и когда гуляешь с сыном. Но я все-таки не верю, что ты способен думать о железобетоне даже сейчас, когда танцуешь со мной.

Может, ты думаешь о том же, о чем думаю и я? Надо, мол, мне расшевелить мужской клуб, который собрался в коридоре, а тебе — пригласить Толькину жену. Она совсем скисла: хочет танцевать, а ее никто не приглашает... Или ты просто прислушиваешься к тому, что происходит в детской? Ребята там, на самом деле, странно притихли. А у нашего сына редко бывает тихо, когда приходят к нему дети наших друзей.

А может, ты тоже что-нибудь вспоминаешь?.. Тебе ведь тоже бывало трудно, хороший мой! Я знаю... Думаешь, я не понимаю, почему простая человеческая забота казалась тебе раньше чудом? Ты никогда не говорил об этом, но разве трудно догадаться? Разве стал бы удивляться заботе человек, который привык к тому, что о нем заботятся?

И даже со мной тебе бывало трудно... Я ведь тоже помню ту осень в Сибири. Я тогда не мстила тебе, Вить-

ка. Правда! Просто новый директор нашей школы на самом деле был очень интересным человеком. В нем было много такого, чего не хватает тебе. Он мог часами читать на память хорошие стихи. Он знал в деталях книги, которые ты даже не брал в руки. Он различал пианистов по манере исполнения.

Я, конечно, и тогда понимала, что не это главное. Просто раньше я очень редко встречала таких людей и еще ни разу не работала с ними рядом.

Видимо, я слишком много говорила о нем дома. И слишком подробно. Потому что ты вдруг завалил свой стол сборниками стихов, альбомами репродукций и пластинками, которых у нас раньше дома не было. И уже к концу месяца ты читал на память лучшие вещи Блока, Есенина и современных поэтов, пробовал отличать игру Рихтера от игры Ван Клиберна. Это было так необычно для тебя, что я просто терялась. А потом ты снова влез в расчеты и чертежи и смахнул со стола все, что мешало тебе работать. И уже через месяц целый цех начали по твоему проекту переводить с выпуска ячеистых блоков на выпуск панелей из ячеистого бетона.

Ты остался самим собой. Ты ничего не объяснял мне в своем поведении. И все-таки сказал очень много.

А потом я как-то прибежала к тебе на стройку и увидела, что ты на страшной высоте ходишь по каркасу без страховки. Рабочие сказали, что ты не боишься уже давно, и я совсем потеряла голову и не могла думать ни о ком, кроме тебя. Тогда мне казалось, что директор как-то сам собой потускнел, померк и ушел вдаль. А теперь я понимаю, что это сделал ты. И не только тем, что я видела. Чем-то еще. Не менее сильным. Я до сих пор не понимаю — чем. Наверно, это тоже твоя тайна... Вроде той моей... Правда?

А может, и все остальное! — так же? Я привыкла думать, что у нас все прочно, надежно, потому что об этом забочусь я. А может, и во всем — так же, как с журналами? Мне кажется, что это делаю я, а на самом деле мы это делаем оба?.. Ведь, если говорить честно, и у меня за эти десять лет было много маленьких чудес.

Неужели я совершила сейчас открытие?.. Чудно!.. Мы десять лет вместе, и вот я заново открываю тебя... Сколько таких открытий нам еще предстоит, а?

...Он снова кончается, этот грустный медленный

вальс. Не надо больше ставить его! Мне очень хорошо танцевать с тобой, но ведь у нас гости... Мы лучше потом, ладно? Когда все разойдутся.

А помнишь, как я учила тебя танцевать вальс-бостон? Еще там, в моем городке, в твоей комнате... Помнишь? Десять лет прошло. Сын уже во втором классе. А нам все еще хорошо танцевать с тобой вдвоем в пустой комнате...

Зачем ты подводишь меня к серванту? Что ты хочешь там показать мне? Как будто я могу не знать чего-то в своем серванте!.. Витька!! Откуда это? Осенью — ландыши!.. Где ты взял?

Впрочем, зачем я спрашиваю? Это же чудо! Такое же, как сборник стихов, за которым я гонялась по городу целый месяц и который нашла сегодня утром на столе... Такое же, как новые туфли, которые стояли сегодня утром возле кровати. Как раз такие, о каких я мечтала и каких нет у нас в городе...

Ну, хорошо, ты не объясняешь... Я могу понять все! Но откуда ты осенью взял ландыши?!

Дорога туда и обратно

Ксения сидела в кузове на мешках, спиной к кабине, и держалась правой рукой за борт, потому что машину сильно трясло. Рука, даже в меховой варежке, быстро застывала, и тогда Ксения передвигалась к другому борту и держалась за него другой рукой, пока не застывала и эта.

Когда выехали с проселка на асфальтированное шоссе, Ксения встала в кузове на колени и еще раз подвернула выбившиеся от тряски полы старых тулупов под мешки с картошкой. Мешков было много: шесть своих да четыре соседских. И все нужно было сегодня продать — не везти же обратно...

Потом Ксения снова угнездилась на мешках, прислонилась спиной к кабине и задумалась. За борт теперь можно было не держаться: машина шла ровно, и, наверное, поэтому думалось обо всем очень легко и ясно.

Сегодня Ксения продаст в областном городе шесть мешков картошки и в следующее воскресенье опять поедет. Это уже решено, и никакого другого выхода нет. Пять дней назад доктор сказал, что отцу обязательно надо ехать в Железноводск, не то с печенью будет совсем худо. А отец и так уже не работал больше месяца, все болел, лежал на кровати и стонал. И еще доктор запретил ему есть свинину, баранину и яйца и все острое и соленое. А что же есть, если нельзя свинину и яйца? Картошку с хлебом, что ли?

Когда отец вернулся из района и рассказал о словах доктора в правлении, председатель колхоза Николай Гаврилович вначале, при отце, пошутил и посмеялся, а

на другой день был в районе и звонил оттуда в область и, когда возвратился в село, пришел к отцу и сказал, что ему, как лучшему колхозному плотнику, могут дать путевку в Железноводск, но за нее надо уплатить сто двадцать рублей, и колхоз тут помочь ничем не может, кроме как авансом, потому что правление — это не заводом и продавать путевки со скидкой не имеет права.

В тот день Ксения сама предложила продать в городе картошку и не выращивать трех поросят, которые уже полтора месяца хрюкали в хлеву. Картошку берегли для поросят, а поросят хотели вырастить к весне, когда мясо дорого и за него можно взять в городе полную цену, чтобы купить Ксене модные платья, узконосые туфельки на «шпильках» и модное осеннее пальто. Летом Ксения ездила в областной город на совещание свекловодов и там видела, как красиво одеты городские девушки и как сильно отличается от них она в своем дорогом, но немодном крепдешиновом платье с цветочками, в своих черных лакированных туфлях с каблукками-колодками. Когда-то эти туфли казались ей верхом красоты, и она долго копила на них деньги, долго искала их в магазинах, а потом только по праздникам вынимала из сундука. И вот сейчас лакировки совсем целые, почти новые, а в городе их уже носят только старухи, и ни одна девушка не пойдет в таких туфлях на танцы и даже вообще не выйдет вечером на улицу. А Ксения, конечно, хочет одеваться модно, потому что когда же и одеваться модно, если не в молодости.

Уже несколько лет, с тех пор как после восьмого класса Ксения ушла из школы и стала работать в колхозе, она мечтает как-нибудь осенью, после уборки, съездить в Москву или в Ленинград, или куда-нибудь на Юг, к морю, или хотя бы просто в любой дом отдыха. До сих пор Ксения никуда дальше областного города не ездила, а Москву, море и дома отдыха видела только в кино. Но чтобы поехать в большой город или еще куда, нужно не только иметь немало денег, но и быть по-модному одетой, чтобы самой себя не стесняться и чтобы другие тебя не стеснялись. А то встретится там хороший человек, захочет куда-нибудь пригласить и, чего доброго, еще не пригласит из-за того, что не так одета.

Когда Ксения мечтала о будущем, жизнь представля-

лась ей обязательно с такими вот поездками в разные большие города или просто в какие-нибудь красивые места. Пусть целый год она будет работать как заведенная, лишь бы потом куда-нибудь съездить. Еще неделю назад эта мечта казалась совсем близкой. Вот справит за лето модную одежду, получит осенью на трудни, и можно будет куда-то поехать. А теперь все это отодвинулось самое меньшее еще на год. Зима только началась, и впереди еще одна зима и две весны, два лета и только потом можно на что-то надеяться. И все это время — почти полных два года — остается видеть только свою деревню, да изредка маленький и пыльный районный центр, да еще реже — областной город. И неизвестно еще, что будет через два года. Может, опять все сорвется.

Машина несется по шоссе, и ветер свистит по сторонам, и мороз пробирается к телу, несмотря на то, что поверх своего ватника Ксения надела старый отцовский полушубок, а поверх своего платка — толстую материну шаль, которая обычно лежит в сундуке и так пропахла нафталином, что и сейчас ни мороз, ни ветер не могут убить этого запаха.

По сторонам бегут назад то елки в белых, будто капроновых шубках, то сосны в белых шапочках, то голенькие замерзшие березки. Ксения почему-то всегда жалеет зимой березки. Ей кажется, что мерзнут они гораздо больше других деревьев и даже больше людей. Когда Ксения была девчонкой, она зимой укутывала молоденькую березку возле сарая соломой, рогожами и старыми мешками. Отец посмеивался, но никогда не мешал дочке и не снимал березкину одежду. Может, из-за этого березка возле сарая и вымахала такой крепенькой, развесистой и веселой.

И потому еще, может, Ксения так любит и жалеет березки, что в восьмом классе очкарик Юрка, сын деревенской почтальонши, сидевший на соседней парте, протянул ей однажды сложенный вчетверо листок. Ксения вначале подумала, что это обыкновенная записка, какими ребята перебрасываются во время уроков, но потом сообразила, что записку незачем передавать в перемену и незачем при этом так краснеть, как покраснел Юрка. И едва она это поняла, как сама покраснела.

— Спасибо, — почему-то сказала Ксения и убежала

в раздевалку. Там она развернула листок. Стихи! Она помнит их до сих пор, хотя прошло почти уже пять лет и все стихи, которые учили в школе, давно позабылись:

Ты — как березка стройная,
Ты — как березка скромная.
Ты — как березка летняя —
И грустная и светлая.
Да что о том рассказывать? —
Тугим узлом завязана
Во мне березка русская
С твоей головкой русою.

Ксения сразу же поняла, что стихи эти Юрка написал о ней, Ксене. «Любит! — догадалась она. — Любит!»

И она стала думать о Юрке: о том, какой он хороший, как он отлично учится, как никогда за все годы не обижал девочек; вспомнила, как он несколько раз давал ей списывать задачи, которые она не могла решить дома, и, в конце концов, тут же, в раздевалке, поняла, что тоже любит его, что от этой любви все равно никуда не денешься, что эта любовь — на всю жизнь.

Ксения хотела написать ему в ответ тоже стихи, но стихи у нее не получились, и она, уже на уроке, вырвала из тетради лист, написала размашисто: «Я — тоже», — и передала Юрке.

Юрка прочитал, вспыхнул, разорвал этот листок на мелкие кусочки и ссыпал их в свой портфель.

А потом они шли вместе с Юркой из школы и говорили почему-то про астрономию, про планеты и звезды, и Юрка собирался туда полететь, и Ксения думала, что будет его ждать, сколько бы ни пришлось ему летать по звездам и планетам.

И до самой весны Юрка провожал ее после занятий и говорил с ней о ракетах, межпланетных кораблях и космических скафандрах. А Первого мая, когда они шли со школьного вечера, он увел ее за село, к оврагу, и там поцеловал, и она его тоже поцеловала.

И потом почти каждый вечер они с Юркой целовались, и Ксения ходила с припухшими губами, и мать однажды сказала:

— Смотри, девка, не спеши. На торопливых камни везут.

А Ксения думала, что никто ничего не знает...

Перед самыми экзаменами отец свалился пьяный с мостика через овраг и сломал себе руку и ногу, и его увезли в районную больницу и сказали, что это надолго, что с год он не сможет плотничать, так как переломы сильные.

Тогда-то Ксения и ушла из школы, потому что мать приносила из колхоза мало, а Нюська, младшая сестренка, еще только собиралась идти в первый класс. А теперь Нюська уже учится в пятом, а Ксения могла бы учиться в каком-нибудь институте в городе.

С Юркой они целовались до осени, до холодных и бесконечных октябрьских дождей. А потом целоваться стало негде, и у Юрки было все больше и больше уроков, и они виделись редко, и Ксене стало казаться, что он ее уже не любит, и поэтому она нарочно поссорилась с ним и не пошла мириться первая. Она все ждала, что первым придет мириться он, и тогда она его еще помучает, чтоб крепче любил. Но он почему-то первый мириться не пришел, а стал вежливо здороваться с ней на улице и проходить мимо. Когда в середине зимы Ксения уже решила мириться с ним сама, она вдруг увидела его после уроков с Веркой Серегиной, самой красивой девчонкой из их класса. Они шли из школы рядом, медленно, и не заметили Ксению. Они, наверное, тоже говорили про далекие звезды и планеты. И, может, Юрка, как и Ксене, написал Верке стихи, те же самые, потому что у Верки тоже светлые волосы. А мог и другие написать — ему это ничего не стоит. Он сам говорил, что у него дома целая тетрадка разных стихов, которые он сочинил.

Теперь Юрка уже в армии и шлет Верке письма без марок, и все знают, что она его ждет и что, когда он вернется, они поженятся.

А у Ксении так до сих пор никого и нет, хотя многие парни за это время и приставали к ней и с некоторыми она даже целовалась, но все это было просто так, одно баловство, а серьезного ничего и не было. Да и как могло быть что-то серьезное, если свои, деревенские парни уходили в армию, а потом оставались в городе или уезжали на целину, а в колхоз возвращался лишь из пяти один, и тот, конечно, был нарасхват, и девки на него прямо вешались, а Ксения вешаться не умела.

Один заезжий шофер, рябой и веселый малый, которого присылали в прошлом году в колхоз на уборку, даже предлагал Ксене пожениться и уехать с ним в город, в какой-то Ковров, недалеко от Москвы. Но о загсе этот шофер почему-то не заговаривал, и Ксения решила, что выходить за него не стоит. Она слышала, что у иных шоферов чуть ли не в каждой деревне жена, и она этого, конечно, не хотела. Да и любви у них никакой не было — так просто, облапил он ее один раз и поцеловал в губы. Она и опомниться не успела.

На своих, деревенских, Ксения уже не надеялась, не ждала, что выйдет за кого-нибудь из них замуж, да, признаться, теперь и не очень хотела этого. Выйди она за кого-нибудь из своих, жизнь у нее была бы такая же, как у ее матери, такая, какую она уже знала, какой жила все свои двадцать лет. А она хотела жизни интересной, и в другом месте. Ехать же самой в город, на завод или на стройку, как уезжали некоторые девчата, было страшно. Да и от людей неудобно, потому что отец больной, а сестренка еще на ноги не встала. А вот если встретится хороший человек и увезет ее, то тут уж никакого неудобства нету. И ехать с хорошим человеком на новое место не страшно. Он и поможет, и защитит, если кто станет обижать.

Только все это пока что мечты, потому что холостые люди в деревню приезжают редко и ходят больше в правление да на фермы. А Ксения там почти не бывает, вот ее и не замечают. И сама она теперь из деревни выберется не скоро. Не раньше, чем через два года...

Елки, сосны и березки все бегут и бегут назад, потом они начинают редеть, и, когда Ксения поворачивается, зажмурившись от встречного холодного ветра, вдали уже виднеется город — высокие дома на холме, темные трубы заводов и высокая железная мачта, с которой идут передачи по телевидению.

Когда приехали, народу на базаре было уже много. Свои, городские, и приехавшие из ближних деревень позанимали почти все места, и Ксения, обегав ряды, с трудом нашла местечко далеко от входа — неудобное и невыгодное — и замахала Сергеем рукой, чтоб он подгонял туда машину.

Затем из кабины, кряхтя, выбралась Степановна,

Ксенина соседка, которая тоже приехала с картошкой, и Сергей откинул борт и стал стаскивать мешки.

Когда мешки были сгружены, Сергей поднял борт, закурил тоненькую папироску и сказал:

— Ну, я к родне поеду. За вами прикачу к пяти. Раньше вам все равно не расторговаться.

Ксения молча кивнула, хотя знала, что Сергей поедет не к родне, а на заправочную станцию, купит там бензину, а затем станет где-нибудь на бойком месте и будет поджидать «леваков». В деревне не подкалымишь, в город председатель отпускает Сергея редко, а деньги ведь и ему нужны. Трое пацанов дома — одёжи не напасешься.

Когда Сергей уехал, Ксения пошла за весами и долго стояла в очереди, а потом, притащив на свое место весы для себя и для Степановны, пошла по рядам узнавать, почем сегодня картошка.

Картошка была по полтиннику за три кило. Дешевле продавали только мелочь — на корм свиньям. Ксения тут же решила, что будет продавать кило за пятнадцать копеек, и пусть Степановна обижается не обижается — дело ее. Ксения ее с собой не звала, она сама увязалась, когда узнала, что председатель дает Ксене машину. Если бы Степановна была поумнее, она бы и сама так же торговала. Место у них неудобное, картошки много — иначе не расторгнешься. Но Степановна — скряга и лишние полкопейки ни за что не уступит. Хоть три дня будет торговать, но возьмет полную цену. Время свое она ни в грош не ставит.

Так оно и вышло. Когда Ксения сказала, что будет продавать по пятнадцати копеек, Степановна заворчала:

— Вот такие, как ты, цену и сбивают. Балаболки-то... И в хозяйстве от вас никакого проку. Даром что замуж не берут... Мужу хозяйка нужна...

Кряхтя и охая, Степановна выбрала из мешка самые крупные картофелины и положила их на весы.

У Ксени картошка была не хуже, чем у Степановны. Но она не выбирала. Она положила всякую — и крупную и среднюю. Какая есть. Чтоб без обману.

Первым подошел парень с потертым кожаным чемоданчиком. Он взял одну картофелину в руку — должно, хотел проверить, не мороженная ли, — но, увидав,

что картофелина еще теплая, сразу же положил ее обратно на весы.

— Почему твоя картошка, красавица? — спросил он.

— Пятнадцать копеек.

— Сыпь полный чемодан.

Он положил чемоданчик возле весов и раскрыл его. И, пока Ксения накладывала и вешала картошку, он не отводил взгляд от ее лица.

— Откуда будете? — весело спросил он.

— Из Таловки. Камышейского району.

— У вас там все такие красивые?

Ксения усмехнулась.

— Через одну.

— Тогда поеду к вам! — решительно произнес парень. — Возьму отпуск и поеду.

— Небось, жена не пустит! — заметила Ксения.

Парень, все еще улыбаясь, кивнул.

— Да... Жена, конечно, запротестует...

Потом озорно скосил глаза и добавил:

— А я к вам на уборку!.. Примете?

— Приезжайте... — Ксения пожала плечами. — Мне-то что? У нас въезд никому не заказан... Девяносто копеек с вас.

Парень рассчитался и на прощанье подмигнул:

— Жди в гости, красавица!

Затем он затерялся в толпе, а Ксения, накладывая на весы картошку, думала о том, назначил или не назначил бы он ей свидание, если бы был холостым. «Наверно назначил бы!» — решила она, и от этой мысли стало как-то веселей и уютней на холодном и шумном городском рынке, где люди не смотрели друг другу в лицо, а смотрели на весы и на руки, отсчитывающие деньги.

Несмотря на то что место было далеким и неудобным, покупатели к Ксении все-таки подходили и картошки брали помногу, потому что тот, кому нужно два или три кило, не пойдет искать по всему рынку, где дешевле.

У Степановны тоже брали картошку, но с ней все ругались. Во второй вес накладывала одной мелочи, и люди сразу понимали, что она обманывает. А с Ксенией не ругался никто, многие даже улыбались ей и желали счастливо торговать, а один, немолодой уже мужчина и, судя по хорошему пальто и полному, гладкому лицу,

какой-то начальник, даже сказал, что, будь он помоложе и неженатый, он бы купил сразу всю картошку и увез ее к себе вместе с хозяйкой.

— А может, я бы не поехала! — улыбаясь, ответила ему Ксения.

— Поехала бы! — уверенно сказал мужчина. — Я молодой красивый был. Еще как поехала бы!

Уходя, он тоже пожелал счастливо торговать, а Ксения подумала, что у себя на работе он, может, совсем не такой веселый, а строгий и суровый, и, если бы Ксения с какой-нибудь просьбой пришла к нему в кабинет, он бы разговаривал с ней совсем по-другому. И вообще, начальники всегда вежливы и просты с теми, кто от них не зависит, и если только они очень хорошие люди, то обращаются с подчиненными так, будто те во все и не подчиненные.

Сейчас в колхозе такая звеньевая по свекле, Настасья Федоровна. Она работает вместе со всеми, всех защищает, никого не обижает и вообще будто и не начальница. И все бабы и девки в звене, даже самые вредные, боятся подвести свою звеньевую и работают как заведенные, и никогда ни от чего не отказываются и не увиливают. Потому что они видят, как Настасья Федоровна все делает по совести и лучше себя обидит, чем кого-нибудь из своего звена.

А потом Ксения забыла и про мужчину, которому так понравилась, и про всех начальников и подчиненных, потому что покупатели пошли один за другим, и нужно было только успевать поворачиваться — накладывать картошку да считать деньги.

К обеду картошки на рынке осталось мало, передние столы, что около входа, пустели один за другим, и возле Ксении и даже возле Степановны установились небольшие очереди.

— Не грех бы цену-то поднять, — шепнула Степановна, занимая у Ксении мелочи.

— Стыда не оберешься, — ответила Ксения.

Степановна по привычке заворчала, но Ксения уже не слушала ее, потому что возле весов стояли люди и торопили.

Подошла очередь высокой дамы в меховой шубе из каких-то желтых с темными полосами посредине шкурок. Ксения заметила эту даму еще тогда, когда та ста-

новилась в очередь. «Какой это у нее мех? — подумала тогда Ксения. — И не угадаешь, что за зверь такой...» А теперь эта дама придирчиво отбрасывала с весов среднюю картошку, и ту, которая была хоть чуть задета лопатой, и ту, на которой были наросты.

— Вы не выбирайте, — сказала Ксения. — Картошка вся хорошая. Гнилой нет.

— Я тебе деньги плачу! — неожиданно громко взвизгнула дама. — Дерут последнюю шкуру да еще требуют, чтобы не выбирали! Тунеядцы!

— Вы не оскорбляйте, — терпеливо сказала Ксения. — Я не меньше вашего работаю. Может, даже побольше.

Ксения подумала, что дама эта, наверно, никогда не гнула в поле спину от зари до зари, но зато у нее есть такая шуба, какой Ксене в жизни не носить. И не ей говорить, что с нее дерут последнюю шкуру.

Дама в шубе больше не ругалась, а молча отсчитала деньги, взяла свою картошку и ушла. И Ксене показалось, что вся очередь тоже молчаливо осуждала эту даму, потому что там стояли все люди простые, никакой роскоши на них надето не было, и наверняка они понимали, что Ксения эту картошку своим потом поливала и не она виновата, что в магазинах нет картошки подешевле.

Потом Ксения подумала, что, появившись она в своей деревне в такой вот шубе, ее наверняка засмеяли бы. И парни первые. Потому что шуба эта, как балахон, и не угадаешь, что под ней: бабья стать или суковатая коряга...

Картошку свою Ксения продала первая, свернула мешки, сбегала к воротам купить пирожков с ливером и повидлом, съела их и стала помогать Степановне, к которой все еще подходили покупатели. Ксения теперь вешала картошку, а Степановна только получала деньги.

К пяти часам у Степановны еще оставалось полмешка картошки, и Ксения подумала, что, когда приедет Сергей, эти полмешка придется везти обратно в деревню. Но Сергей к пяти не приехал, и до закрытия рынка всю картошку удалось продать.

А потом с рынка пришлось уйти, и Ксения со Степановной долго стояли у ворот, мерзли и все ждали Сер-

гея. В городе уже было темно, горели большие желтые, как луна, фонари. По соседней улице, рядом с рынком, бесшумно проносились легковые машины. Куда-то спешили люди. Они шли широкими потоками в обе стороны, и не было у этих потоков ни начала ни конца. И Ксене страшно захотелось быть нарядной горожанкой, идти в одном из этих потоков, спешить в кино или там в театр, и чтобы позади, за спиной, у нее был свой городской дом, с диваном, с комодом, уставленным разными безделушками, и с радиолой «Рекорд», возле которой аккуратной стопкой, под вышитой салфеточкой, лежали бы самые хорошие, самые веселые и самые грустные пластинки и среди них — любимая песенка о том, что «нет любви хорошей у меня».

Сергей так и не приехал. Либо он нашел далекого, выгодного «левака», либо на самом деле загулял у своей родни. Ксения со Степановной ждали его у ворот целый час, а потом Ксения сказала:

— Надо в Дом колхозника идти. Переночуем, а утром поездом уедем.

До их районного центра можно было доехать поездом, и поезд уходил по утрам. Это Ксения знала.

Степановна, конечно, опять заворчала:

— В Доме колхозника платить надо. Лучше уж на вокзале переночевать. Лавок-то хватит.

— Вы как хотите, а я в Дом колхозника пойду, — твердо сказала Ксения и подняла со снега мешок. В него были вложены остальные свернутые мешки и старый тулуп, которым укутывали картошку.

— погоди уж, и я с тобой. — Степановна заторопилась и тоже подхватила свой мешок. — Чего я одна на вокзале-то буду? Чай, обокрасть могут.

В Доме колхозника их поместили в большую комнату, где стояло шесть коек. Кровать Степановны была у двери, а Ксенина — у окна, в углу. Под соседней кроватью лежал туго набитый рюкзак, а на тумбочке, которая отделяла эту кровать от Ксениной, лежали журналы. Ксения подошла, посмотрела их. «Знание — сила», «Техника — молодежи», «Юность». И все новенькие, необтрепанные. Видно, только что купленные.

Ксения аккуратно сложила на стуле отцовский полушубок, свой ватник, материну шаль, причесалась перед зеркалом, зажав заколки губами, взяла полотенце

и пошла умываться. Степановна покосилась на нее, но из комнаты не вышла — осталась стеречь вещи, хотя, кроме них двоих, в комнате никого больше не было.

Когда Ксения вернулась, умываться пошла Степановна, а Ксения расстелила во всю ширь одеяло на своей кровати и легла, раскинув руки и чувствуя, как усталость придавливает ее к постели и не дает даже пошевелиться.

Однако уснуть Ксения не уснула и, полежав так с полчаса, повернулась на бок, взяла с тумбочки один журнал и стала его перелистывать. И как раз в это время в комнату вошла девушка в расстегнутом зимнем плюшевом жакете и пуховом платке — маленькая, тоненькая, румяная.

Она подошла к соседней кровати, сказала Ксене «здравствуйте» и сняла с себя платок и жакет.

Ксения тоже сказала «здравствуйте», села на кровать и добавила:

— Я тут ваш журнал взяла посмотреть. Вы уж извините.

— Пожалуйста, пожалуйста! — сказала девушка. — Смотрите на здоровье.

— Спасибо.

Ксения снова легла и посмотрела в журнал. Но теперь смотреть в него почему-то не хотелось. Хотелось глядеть на девушку, на то, как она роется в своем рюкзаке, достает тапочки, снимает меховые ботинки и тоненькие капроновые чулки. Ксения зимой таких чулок не носила, потому что в них холодно, а надевала шерстяные или фильдеперсовые. А девушка вот фасонила, и ее тоненькие ноги стали от мороза розовыми и пошли пупырышками, как от холодной воды.

На вид девушке было лет шестнадцать-семнадцать, но Ксения понимала, что ей не меньше восемнадцати и что она просто выглядит моложе, потому что худенькая. Худенькие всегда кажутся моложе.

«Интересно, откуда она? — подумала Ксения. — Спросить бы...»

Однако спрашивать почему-то было неудобно.

Ксения снова опустила глаза в журнал, перевернула несколько страниц, прочитала заголовки и подписи под картинками.

Девушка тем временем убрала рюкзак, легла на

кровать, укрыла свои худенькие голые ноги углом одеяла и тоже взяла с тумбочки журнал.

Потом она неожиданно сказала:

— Как еще у нас все-таки много бюрократов! Даже в комсомольских органах — и то бюрократы!

— Да... — согласилась Ксения и вздохнула. — Бюрократов у нас еще много.

Она почему-то вспомнила секретаря своего сельсовета хромого Степку Афонина, который учился с ней в одном классе. Степка выдавал в селе разные справки и страшно важничал. Редко кто получал у него справку сразу. Обычно ходили к нему за каждой бумажкой по два, а то и по три раза. Когда он успел стать таким, Ксения не понимала. В школе был парень как парень. Но лишь только заполучил в свои руки печать — сразу переменялся. Правда, Юрка, которого она когда-то любила, всегда терпеть не мог Степку Афонина и считал его дураком. И она тоже стала считать Степку дураком после того, как он однажды подсунул ей в партудохлого котенка, а потом целую перемену носил его по школе и совал в лицо девочкам. Может, Степка Афонин потому и стал так быстро бюрократом, что он дурак? Может, и другие бюрократы — это тоже просто дураки? Ведь зачем бы умному да хорошему человеку становиться бюрократом?

— А вы что — по комсомольским делам сюда приехали? — осторожно спросила девушку Ксения.

— Да вроде по комсомольским, — ответила девушка. — Хотела путевку получить. На комсомольскую стройку. Чтобы или ГЭС или химия... Что-то главное надо делать!.. Да, боюсь, придется так ехать...

— Это почему же? Не дают? — с интересом спросила Ксения.

Она вспомнила, что по комсомольским путевкам уехали из их деревни на целину три ну прямо совсем некрасивые девочки. А потом они писали, что девчат на целине совсем мало и парня можно выбрать хорошего, если только не быть дурой. И все они на самом деле вышли там замуж, и одна даже приезжала с мужем к себе домой. Муж у нее был симпатичный и всем в деревне очень понравился.

Когда Ксене становилось тоскливо и одиноко, ей тоже очень хотелось уехать на целину или на какую-ни-

будь большую стройку, про которые она много читала в газетах и журналах. Но она все никак не решалась. Да и семью бросить нельзя: ее руки пока нужны. А эта вот девочка, значит, решилась...

— Не дают, бюрократы проклятые! — ответила девушка. — Говорят, нужна бумажка из зонального комитета комсомола. А где ж мне ее взять, если секретарь комитета — мой брат, и он против того, чтобы я ехала? Где мне ее взять?

— А почему он против? — спросила Ксения.

— Говорит, так все уедут, а кому-то надо и здесь оставаться. «Я, говорит, тоже хотел бы, да вот тут кручусь». И вообще он меня всерьез не принимает. Считает, что я маленькая, что мне рано, что от меня там пользы не будет, а одни только хлопоты другим... А я все равно уеду!

— Конечно, — согласилась Ксения. — Там лучше будет...

— А я не ищу, где лучше. Я ищу, где интереснее.

— А вот как по-вашему, в чем этот интерес? Я часто про это думаю...

— Да так сразу не скажешь... — Девушка улыбнулась, потом задумалась. — Мне много надо... И чтоб любовь была настоящая... И чтоб работа — в удовольствии... И чтобы люди за нее мне спасибо говорили, а не по носу шелкали...

— А вы работали?

— В Тюлюкинском райпромкомбинате — учетчиком. Скучища там — сил нет! Два рационализатора отыскались на весь комбинат!.. И тем ходу не давали... Я вмешалась — мне говорят: «Не лезь! Молода еще!» Я к брату пошла, а ему за меня вступаться, видите ли, неудобно — сестра... От одного этого уедешь!..

Девушка замолчала и снова задумалась, глядя куда-то в угол чуть прищуренными темными глазами.

— Ну и как? — тихо спросила Ксения. — Ничего не вышло?

Она была почти уверена, что не вышло. Разве может выйти что-нибудь путное, если против начальства пойдешь?

— Выйти-то вышло! — Девушка слегка махнула рукой. — Я до секретаря парткома дошла... А вот толку?.. Ну, стали больше тележных колес делать... А по мне —

так уж все телеги давно на слом пора! Двадцатый век давно переломился, а я из-за телег воюю... Вот и подумала: на что жизнь уйдет? Раз живешь — второй не дадут... Уж жить — так ради чего-то стоящего. Ради чего-то главного... Чтоб века прошли, а люди все спрашивали: «Кто ж делал это? Кто здесь пот проливал? Кому спасибо сказать?» И чтоб кто-нибудь ответил: «Вот среди других и Светка Пестовская здесь была... И не последней...»

— Вас Светланой зовут? — спросила Ксения.

— Да. Светланой.

— А меня Ксеньей. Я из Таловки. Камышейского района.

— Вы на какое-нибудь совещание приехали?

— Нет!.. Я картошку на базаре продавала.

— А-а... — разочарованно протянула Светлана и опустила глаза в журнал.

Ксения подумала, что Светлане теперь, наверно, совсем неинтересно разговаривать с ней, и это было обидно, потому что было несправедливо. Ксения ведь не потому продавала картошку, что любила торговать. Велико ли счастье — торчать целый день на базаре?.. Чего доброго, Светлана подумает, будто Ксения и делать ничего больше не умеет!..

— А на совещании я тут летом была, — сказала Ксения. — Когда свекловодов собирали. Прямо в обкоме совещание шло...

Светлана сразу подняла от журнала глаза и с любопытством поглядела на Ксению.

— Вы свекловод? — спросила она.

— Ага, — ответила Ксения. — В свекловодческом звене работаю. У нас по всему Камышейскому району лучшие урожаи. Вот нас троих из звена и вызвали.

— Вам хорошо! — сказала Светлана. — У вас дело свое в жизни есть. Своя дорога какая-то... А у меня — пока ничего! Даже институт по душе выбрать не смогла! Удивительная бездарность!

— А вы что, поступали в институт? — спросила Ксения.

— В том-то и дело — нет! Не решила — в какой. У нас вот такие, кто не решил, все в педагогический пошли. На истфак да на литфак... А я литературу люблю, только смогу ли быть учителем — не знаю. Не тянет

меня что-то в учителя... Я бы, наверно, в летное училище пошла! Чтоб испытателем стать... А девчонок туда не берут... Был бы отец жив, он бы что-нибудь для меня придумал!

Светлана зябко передернула плечами, повыше натянула на голые ноги угол одеяла. Совсем тихо добавила:

— Он, говорят, у меня очень смелый и очень умный был, отец-то... И мама рассказывала, и товарищ его, который с ним сидел... Он три года назад приезжал... Записку нам с Володькой от отца привез...

Ксения сразу поняла, где был Светланин отец. Она и слыхала про это и читала много. Но вот так, в жизни, ни разу еще не встречалась с теми, у кого отцы или матери зазя сидели при Сталине.

— А вы совсем отца не помните? — спросила она.

— Как же я могу его помнить? — Светлана усмехнулась. — Его забрали, когда я еще не родилась... А Володьке тогда два года было. Тоже ничего не помнит... Мы отца только по одной карточке знаем. Ма-аленькая карточка!.. Мама ее десять лет ото всех прятала... Отец ведь еще до войны сидел... Потом его на войну отпустили. Он военный был, подполковник. Они с мамой на фронте поженились. Мама медсестрой у него в полку служила... А через год после войны его снова забрали... Мама тогда в Тюлюкино и уехала — меня рожать. Потому что в Тюлюкине дедушка с бабушкой... А до реабилитации отец не дожил... Так там и умер...

— Страшно это! — сказала Ксения. — Когда зазя!.. Ой, как страшно!

Светлана промолчала.

— А вы этим бюрократам про отца рассказывали? — спросила Ксения.

Светлана отрицательно помотала головой.

— А может, помогло бы...

— Все равно не стану! — упрямо сказала Светлана. — Что ж я буду ходить жалость выпрашивать!.. Отцу бы это не понравилось... Я лучше на толкучке свой платок продам и без всякой путевки уеду! У меня платок пуховый. Мне за него много дадут!

— А как же вы без платка поедете? — спросила Ксения. — Зима ведь.

— А у меня в рюкзаке зимняя шапка есть, — ответи-

ла Светлана. — Мальчишечья. Ее раньше брат носил, а теперь она ему мала. Я ее и прихватила...

— Смело это вы... — Ксения покачала головой. — А если человека хорошего встретите?.. А сами в мальчишечьей шапке?..

— Ну и что?

— Как что?.. Будь вы по-женски одеты, он, может, заинтересовался бы. А так — и не заметит...

— Ой, что вы! — Светлана рассмеялась. — Чихала я на такого хорошего человека! Нужен он мне очень! Разве хороший человек на это внимание обратит? Что вы!

— Мужчины — они на все внимание обращают, — заметила Ксения.

— А я об этом как-то не так думаю, — сказала Светлана. — Мне кажется, если будет любовь, так все равно, кто в чем одет и кто кем работает. Это ни вот столечко значения не имеет! — Она показала кончик мизинца. — Я, если полюблю кого, куда угодно с ним поеду. Хоть в Арктику, хоть в пустыню — мне все равно. Лишь бы с ним вместе!

— Это только в книгах так. — Ксения усмехнулась. — А в жизни такой любви не бывает...

— А у меня в жизни будет!

Светлана произнесла это так уверенно, даже громко, что Ксения невольно с любопытством поглядела в ее темные, горячие глаза и даже приподнялась на локте, чтобы глядеть было удобнее.

Однако уже в следующий момент уверенность этой девочки показалась Ксении смешной. И она снисходительно улыбнулась и, опустив голову обратно на подушку, спокойно сказала:

— Все так поначалу думают. Будто в жизни для них одно хорошее приготовлено. А как начнется... — Ксения махнула рукой. — Нацелуется да к другой побежит...

— Ну, вот уж тут я никого винить не буду. — Светлана покачала головой. — Только себя.

— Это почему же — себя?

— Да потому, что любовь настоящего человека не один раз заслужить надо, а все время ее заслуживать — каждый день, каждый час. Чтоб всегда быть его достойной, а не только сначала. А не будешь — правильно сделает, что уйдет.

— А если просто человек такой? Если ему просто одной мало?

— Так ведь такого раскусить легко. А полюбить трудно. Для меня — даже невозможно.

— Чудно вы говорите... — Ксения усмехнулась. — Будто человек как на ладони разложен и его всего видно. Не угадаешь ведь сразу, какой он.

— Если не захочешь угадать, не угадаешь, — возразила Светлана. — Если, конечно, на все закрывать глаза... А если по большому счету — человек сразу виден.

— Хорошо бы, конечно... — Ксения потянулась, вздохнула. — Как вы говорите — по большому счету. Только в жизни оно редко выходит. Ждешь-ждешь... А чего? Годы-то идут... Надоест ждать — и махнешь рукой... Хоть по маленькому бы счету прошло...

— Что с жизни спросите, то и получите, — отозвалась Светлана.

В голосе ее Ксения почувствовала какое-то тихое раздражение и поняла, что это раздражение относится к ней, Ксении. И поэтому она не стала ничего больше говорить, чтобы Светлана совсем не рассердилась. Она очень нравилась Ксении, эта темноглазая девчонка, для которой самое главное в жизни было просто и ясно. Вот и Ксении бы так... Только ведь этому не научишься... С этим надо родиться... И перевоспитывать Ксению Светлане, наверно, так же бесполезно, как Ксении перевоспитывать Степановну.

Степановна уже уснула, прямо одетая, и тихо посвистывала носом в своем углу возле двери. Ксения поглядела на нее, прислушалась к тихой музыке, которая доносилась из коридора, и тоже на минутку закрыла глаза.

Очень хотелось спать, но обидно было спать вечером в городе, где рядом, прямо за стенами дома, столько разных удовольствий и развлечений. Будь у Ксении с собой зимнее пальто, она бы пошла сейчас в кино. Но идти в кино в ватнике или в отцовском полушубке было, конечно, неловко. Она даже в своей деревне не ходила в кино в ватнике, а старалась одеться понарядней. А уж в городе — тем более.

Ксения потянулась и подумала, что сейчас, наверно, уснет, потому что все равно делать больше нечего.

И как раз в этот момент кто-то громко постучал в дверь комнаты.

— Да-да, войдите, — звонко сказала Светлана.

Ксения еле разорвала слипшиеся ресницы и увидела, как Светлана поправляет одеяло на голых ногах.

Дверь открылась, и в комнату тяжело шагнул колхозный шофер Сергей, который привез Ксению и Степановну на рынок. Сергей широко улыбнулся, провел рукой под носом и, оглядев комнату, сказал:

— Я так и знал, что вы в Дом колхозника пойдете... Ну, собирайтесь! Поехали!

Ксения, зевая, села на кровати и стала надевать валенки. Степановна продолжала посвистывать носом.

Сергей подошел, растолкал ее, и, едва поняв, в чем дело, Степановна стала его ругать, потому что из-за его гулянок деньги за гостиницу уже уплачены, а отдадут их теперь или нет — неизвестно.

Ксения собиралась молча и жалела только о том, что не ответила на последние слова Светланы и что несколько минут они молчали вместо того, чтобы разговаривать. Разговаривать со Светланой было интересно, а когда они теперь увидятся?.. Наверно, никогда... А за эти несколько минут Светлана могла бы сказать еще что-нибудь такое, чего от других не услышишь, хоть всю жизнь с ними проговори.

Собравшись, Ксения положила на тумбочку Светланин журнал, сказала «спасибо» и протянула руку.

— Ну, до свиданья, Светлана. Ни пуха вам ни пера! И большого вам счастья! Если попадете когда в Таловку, останавливайтесь прямо у меня. Моя фамилия Макарецва. Спросите Ксению Макарецу, что на свекле работает. Вам покажут...

— До свиданья. — Светлана встала с постели и пожала Ксению руку. — И не живите по маленькому счету. Не стоит!

В вестибюле Степановна долго ругалась с дежурной и требовала назад свои семьдесят копеек. Ксения ждала ее в дверях.

Наконец Степановна спрятала за пазуху паспорт и пошла к дверям, изругав еще раз дежурную, которая так и не отдала уплаченных денег. Ксения вышла на улицу, глотнула морозного воздуха, забралась в кузов и укуталась тулупом, которым утром укрывала картошку.

Машина мягко тронулась и побежала сначала по людным, ярко освещенным улицам, затем по улицам темным и безлюдным, а затем по шоссе, которое шло высоко, почти на уровне крыш одноэтажных домиков, и уводило все дальше и дальше от центра города.

Вначале Ксения боялась, что уснет в машине. Но потом озноб прошел, спать расхотелось, и Ксения стала думать о том же, о чем думала утром, — о своей жизни.

Еще утром Ксения была уверена, что все в ее планах и мечтах правильно и что все честные и серьезные девушки мечтают о том же: красиво одеться, поездить свет посмотреть, встретить хорошего человека, создать семью и жить в уюте и спокойствии. Но вот оказалось, что Светлана мечтает совсем не об этом, хотя девушка она, конечно, и серьезная и честная. И наверняка, если бы Ксения рассказала ей о своих мечтах, Светлана усмехнулась бы и сказала, что это — «по маленькому счету». И даже самой Ксении ее утренние мечты кажутся сейчас какими-то мелкими, ненастоящими, потому что все они — только для себя. Но никакие другие мечты у Ксении пока не появились и неизвестно, появятся ли вообще. А поступить так, как Светлана, — бросить все и уехать неведомо куда, неведомо к кому — Ксения не может. Это уже ясно, и нечего тут себя обманывать. Но, хоть поступить по-светланиному Ксения и не может, она все же понимает, что без таких, как Светлана, жизнь стала бы пресной и скучной, и не было бы на земле ни интересных книг о большой любви, ни революций, ни полетов в космос.

Машина уносилась все дальше и дальше от города. Его огней уже не видно было за стеной темного леса, и только бледное красноватое зарево поднималось над деревьями в той стороне, откуда убегала машина. Потом и зарева этого не стало видно. Темные деревья по сторонам молча и настойчиво бежали назад, к городу, как будто торопились посмотреть на Светлану, на ее темные, горячие глаза, на ее тонкие, розовые, в пупырышках от мороза ноги. И Ксении тоже хотелось бежать назад вместе с деревьями, и посмотреть еще раз на Светлану, и еще поговорить с ней, и потом думать, думать...

„История без Маргарит не обходится...“

Я никогда раньше не видал фронтовых газет. Вчера я увидел их впервые. Я перелистывал вчера старую, пожелтевшую подшивку и боялся, что грубая газетная бумага может рассыпаться от прикосновения пальцев.

И меньше всего я ожидал, что эти старые, двадцатилетней давности газеты помогут мне еще раз встретиться с моей учительницей.

Она преподавала у нас в школе историю. Ее звали Маргарита Николаевна. Она была молодая и красивая, самая красивая учительница в нашей школе. И наш седьмой «Б» очень гордился тем, что именно у нас она классная руководительница.

Честно говоря, мы учились тогда кое-как. Шла война. В переполненной эвакуированными Алма-Ате было голодно. И мы голодные ходили в школу и думали на уроках о том, что бы поесть, и нередко убегали с занятий в очередь за повидлом, которое иногда давали без карточек в палатке на ближнем углу.

Мы могли убежать с любого урока. Только не с истории. Потому что у Маргариты Николаевны уроки всегда были интересные. Даже веселые. Она почти на каждом из них рассказывала какой-нибудь примечательный исторический случай. А иногда — два или три случая. И поэтому мы внимательно слушали ее. В учебниках не было этих случаев.

Особенно она любила рассказывать про всех Маргарит, какие только встречались в курсе истории средних

веков, — и про Маргариту Наваррскую, которая написала «Гептамерон» в духе «Декамерона» (а «Декамерон»-то мы уже знали!), и про Маргариту Датскую, которая умудрилась стать королевой Дании, Норвегии и Швеции, вместе взятых, и про Маргариту Французскую, после свадьбы которой в Париже была знаменитая Варфоломеевская ночь — резня гугенотов, и еще про всяких других Маргарит: Пармскую, Австрийскую, Анжуйскую... Но особенно запомнилась нам та Маргарита, которая сбежала из монастыря и стала женой Дольчино, вождя крестьянского восстания в Италии. Раскрыв рот, наши девчонки слушали о подвигах отряда крестьянок, которым она руководила. И кто-то даже заплакал, когда учительница рассказала, как заживо сожгли эту Маргариту на глазах мужа.

Каждую новую Маргариту наш класс встречал веселым оживлением.

— Опять Маргарита! — громко говорил самый вековозрастный наш ученик, здоровенный рыжий верзила Генка Лугов. — И откуда только они берутся?

— История без Маргарит не обходится! — улыбаясь, отвечала ему наша учительница и, откинув со лба черную прядь, продолжала урок.

Как-то после рассказа об очередной средневековой Маргарите Генка Лугов спросил:

— А вы тоже надеетесь войти в историю, Маргарита Николаевна?

Наша учительница улыбнулась, развела руками.

— Только вместе с вами, ребята! — сказала она. — С вами-то я обязательно в историю войду... В какую-нибудь историю, но войду!..

Мы поняли. И посмеялись. Потому что совсем недавно у нас действительно была одна «история». Мы всем классом избили трех «ремесленников», которые после уроков, в темноте, приставали к нашим девчатам. Эту драку увидел и прекратил директор. И Маргарите Николаевне, кажется, из-за этого влетело. Но она особенно не ругала нас. Просто вот так иногда «подковыривала».

Мы почти ничего не знали о ее жизни. Мы знали только то, что в Алма-Ату она попала из Белоруссии с волной беженцев. А у нас полкласса были эвакуированные. Мы знали, что такое бросить свой дом и очутиться в незнакомом, переполненном беженцами городе. Поэто-

му даже после уроков, по дороге домой, наши ребята ни о чем не расспрашивали Маргариту Николаевну. Мы, в общем, представляли себе, как она может жить.

Она была очень занята в школе. У нее были классы, которые занимались во всех трех сменах. У нее было очень много общественных дел. Нам казалось, что Маргарита Николаевна каждый день приходит в школу рано утром и уходит поздно вечером. И поэтому мы страшно удивились, когда летом, после экзамена по истории, она собрала нас в кучу и сказала, что прощается с нами, что она окончила курсы радистов и уезжает на фронт.

Когда наша учительница успела закончить эти курсы? Она ведь все время проводила в школе!.. Неужели по воскресеньям, вместо того чтобы отдыхать, она училась на радистку?..

Но думать над этим долго мы не могли — слишком сильно завидовали ей, чтобы серьезно думать о чем-то другом.

Мы всем классом проводили ее в тот день до дома. Девчонки даже поплакали на прощанье. А Маргарита Николаевна обещала с осени писать нам письма. На школу. Для всего класса.

Я так и не дождался ее писем. В августе маму вызвали в Москву, и мы получили пропуск. Я уже думал, что никогда больше ничего не узнаю про Маргариту Николаевну, как вдруг встретил ее сентябрьским днем в Москве, на Арбате — прямо столкнулся с ней нос к носу.

Она была в военной форме. На ее плечах были зеленые полевые погоны с маленькой звездочкой младшего лейтенанта. На пышных черных волосах лихо сидела новенькая пилотка. Маргарита Николаевна шла неторопливо и глядела по сторонам. И очень обрадовалась мне.

— Я только сегодня утром попала в Москву, — сказала она, когда мы поздоровались. — А ночью улетаю на задание. И вот решила побродить. Просто так. В музеях я до войны была... И сейчас там все равно самого ценного нет... А города почти не знаю...

— Хотите, я буду показывать вам Москву? — спросил я.

— А ты не спешишь?

— Что вы! У меня бездна времени!

Вообще-то мне надо было спешить. Но что могли означать мои дела перед такой встречей? Человек улетает на задание, в тыл врага!..

— Ну, что ж, показывай!..

— Я только позвоню. Ладно?

— Звони.

Я позвонил из ближайшего автомата, сказал, чтобы меня не ждали, и повел Маргариту Николаевну прямо к Москве-реке, через мост, в тылы громадного, разricoванного в те годы нелепыми маскировочными полосами жилого дома Совнаркома.

Здесь, пройдя через низенькую подворотню, я подвел Маргариту Николаевну к вросшей в землю церквушке.

— Мальчишки говорят, что это церковь Малюты Скуратова, — сказал я. — А вот это его дом.

Рядом стоял старинный каменный дом с малюсенькими окошечками.

— Мальчишки говорят... — повторила Маргарита Николаевна и усмехнулась. — А точно?

— Точно не знаю.

Мне стало стыдно, и я опустил глаза. Может, вообще не нужно было вести ее сюда?

— Давай посмотрим, — предложила она.

Мы обошли церковь и дом со всех сторон, и Маргарита Николаевна повозмущалась тем, что они обезображены позднейшими пристройками.

— Но вообще-то похоже, — сказала она. — Здания очень древние. Может, твои мальчишки и не врут... Вот погоди — кончится война, вернусь и установлю это точно.

Мы до темноты бродили в тот день по Москве. Я показал ей консерваторию и дворец Морозова на Спиридоновке, и тихие Патриаршие пруды, и один очень красивый дом на улице Герцена, и зеленый Миусский сквер, на котором прошло мое детство и над которым возвышались в то время обломанные темные стены храма Александра Невского.

А когда мы устали, я позвал Маргариту Николаевну к себе — пить чай.

Мама уже вернулась с работы, и поэтому мы не только попили чай с сахаринром, но и пообедали. И затем

посмотрели из окна на один из первых московских салютов.

Потом Маргарита Николаевна взглянула на часы и потянулась к пилотке. Я проводил свою учительницу до трамвайной остановки. Ей нужно было ехать на трамвае «Б». Куда ехать, она не говорила. А я не спрашивал, потому что понимал: она и не может мне этого сказать.

Она крепко сжала мою руку, когда появился из-за угла трамвай «Б».

— Будь здоров, — сказала она. — Спасибо за то, что показал мне Москву. Я ее теперь по-другому увидела. Она, оказывается, очень теплая... Ну, пока! Вернусь с задания — зайду к тебе.

Маргарита Николаевна говорила это, уже поднимаясь на подножку трамвая.

— А когда вы вернетесь?

— Разве я знаю? — Она улыбнулась мне сверху. — Этого никто не знает.

Трамвай тронулся. А Маргарита Николаевна все еще стояла у дверей и махала мне пилоткой.

Я много месяцев ждал, что вот однажды постучат в дверь и я увижу на лестнице свою учительницу и снова пойду показывать ей Москву. Я даже продумал весь маршрут — хотелось показать очень многое...

Но я так и не дождался ее стука в дверь.

«Может, Маргарита Николаевна забыла? — думал я. — А может, просто она вернулась с задания в другой город? Мало ли что может быть!..»

Почему-то не хотелось думать о худшем. Никак не хотелось об этом думать...

И вот только вчера вечером, двадцать лет спустя, я узнал, что Маргарита Николаевна не забыла и не попала в другой город...

Меня пригласил вчера в гости сосед, полковник в отставке. Когда-то, в войну, он был заместителем редактора фронтовой газеты. И теперь почему-то вспомнил об этом, стал рассказывать и даже похвалился тем, что сквозь все годы и невзгоды сумел пронести и сберечь подшивку своей газеты.

— Покажите ее мне! — попросил я. — Я никогда не видал фронтовых газет...

И вот я осторожно переворачиваю грубые листы газетной бумаги. И на одном из этих листов я вижу зна-

комое лицо, знакомые веселые темные глаза и лихую пилотку на пышных черных волосах.

Я останавливаюсь и читаю заголовок над этим портретом: «Подвиг разведчицы».

Это о ней. О Маргарите Николаевне. О том, как ее рацию запеленговали, как радистка отстреливалась, пока не передала все, что было нужно, как ее потом схватили, пытали и повесили в деревне недалеко от Минска.

Это было в начале сорок четвертого года. А в середине его через всю Москву грязной, серой, многокилометровой лентой прошли пленные гитлеровцы, которых окружили под Минском.

Я видел эту единственную фашистскую демонстрацию в Москве. Я до сих пор помню бравых генералов и офицеров, которые четкими рядами вышагивали во главе колонны, грязных солдат с распущенными обмотками, которые кое-как плелись в середине, и поливальные машины в конце колонны. Сменяя друг друга, эти машины шли за пленными фашистами по улице Горького и Садовому кольцу и смывали с мостовой грязь.

Какие сведения передавала моя учительница в последние минуты? Никто, наверно, этого сейчас уже не знает. Но мне почему-то кажется, что передавала она именно те сведения, которые помогли окружить под Минском несколько вражеских дивизий.

Встреча в метро в часы „пик“

— Витька! Какая встреча! Это же нужно, чтобы меня притиснули именно к тебе, а не вон к той старушке! Я бы тогда тебя не увидела...

— Здравствуй, Белка! Это очень здорово, что мы встретились.

— Ты прости, я даже не могу протянуть тебе руку. Так сдавили со всех сторон... Меня буквально внесли в вагон...

— Я видел...

— Знаешь, давай-ка поменяемся местами... Я стану в твой уголок... Вот так... А теперь охраняй меня от этой буйной толпы...

— С удовольствием...

— Ты стоишь сейчас совсем как тогда... Ну, когда мы ездили из института... Помнишь?

— Я все очень хорошо помню, Белка.

— А знаешь... Ты ведь до сих пор мне снишься... И так... Ну... В общем, об этом никому не расскажешь... Особенно мужу.

— Ты вышла замуж?

— Представь.

— Давно?

— Да уж второй год пошел.

— Счастлива?

— Не задавай глупых вопросов... Все как у людей... Ты давно в Москве?

— Неделю.

— Где остановился?

— В «Украине».

— Дико! Коренной москвич приезжает в свой родной город и останавливается в гостинице...

— Не хочется стеснять родню. Они, правда, обижаются...

— Дело даже не в этом. Просто сама ситуация...

— Ситуация естественная. Прости. Так напирают...

— Я вижу... А от тебя пахнет сигаретами. Когда-то ты их терпеть не мог.

— А ты по-прежнему душишься «Красной Москвой»?

— Такие привычки меняются медленно. Знаешь, я привезла из Афганистана такие духи! Чудо! Но ведь много не привезешь.

— Что ты делала в Афганистане?

— Ездила с мужем. Он экономист. Во внешторге. А какие мы там купили покрывала! Если б ты только видел!

— Представляю...

— Нет! Ты даже не можешь представить! С албанскими коврами их и не сравнить! Я пошдираала их дома отовсюду и снесла в комиссионку. Сразу же, как приехала...

— Уф! Вот теперь полегче.

— Ты так торопишься от меня отодвинуться... Как будто тебя может увидеть жена... Кстати, что это за станция?

— Ботанический.

— Ну, еще далеко! И часто ты бываешь в Москве?

— Когда как... В нынешнем году — четвертый раз.

— И ни разу не позвонил...

— Зачем? Разве это что-нибудь изменит?

— А ты бы хотел что-то изменить?

— Не надо об этом, Белка. Все, наверно, получилось правильно.

— Да, конечно... Если не считать того, что ты изломал жизнь и себе и мне... Но для тебя ведь всегда высшая правильность была самым главным...

— Белка! Все равно ведь мы сейчас не разберемся... Если тогда не разобрались...

— Да-да... Разумеется...

— Ты работаешь все там же?

— Да.

— Не надоело?

— Какое это имеет значение? Конечно, я никогда не увлекалась железобетоном. Но ведь все это... второстепенное... Не этим же живет современный человек...

— Смотря какой...

— Ну, я, конечно, не говорю о тебе!.. Ты ведь всегда был сверхправильный! У тебя главная жизнь была в институте, на заводе... В общем, не там, где у нормальных людей...

— Мы, кажется, опять начинаем с тобой ругаться...

— Да... Как сильна инерция, а?.. Через столько лет... А скажи, Витька, ты меня во сне видишь?

— Раньше видел.

— И — как?

— Всяко.

— Боже, какие мы с тобой дураки!..

— Возможно.

— Ну, ты хоть что-то понял за эти годы?

— Я живу сейчас так, как хочу, Белка. А ты мне этого не давала.

— То есть живешь на своем заводе?

— Я перешел в НИИ.

— У вас там даже есть НИИ?

— И не один.

— И что ты в нем делаешь?

— Проектирую то, что раньше собирал.

— Какая-нибудь кибернетика?

— Да, Белка, кибернетика.

— Сейчас это модно...

— Ты же знаешь, я и раньше...

— Да, конечно... Когда мы учились в институте, это считалось низкопоклонством и чуть ли не черной магией... Как тогда из-за этого трепали нервы!

— Было времечко!

— А ведь мне тогда казалось, Витька, что ты прямо из студентов попадешь в самые типичные неудачники. И я очень гордилась тем, что мне на это наплевать и что я тебя люблю, несмотря на это.

— Оказалось-то все-таки не наплевать...

— Ты же прекрасно знаешь — дело не в этом!

— И в этом тоже... Это работало подспудно. Чего уж теперь-то?..

— Ну ладно, оставим эту тему. А то опять начнем ругаться. Как твоя жена?

— Все так же — работает, воспитывает сына.

— Она у тебя, кажется, брюнетка?

— Да.

— Сейчас это модно. Я тоже думаю перекраситься.
— Не стоит. Перекрасишься — это уже будешь не ты.

— Ну и что? Нужно быть чем-то определенным. А то не блондинка, не брюнетка, не рыжая... Это что — уже Белорусская?

— Да.

— Ты сейчас в гостиницу?

— Ага...

— Знаешь, я еще не была ни в одной высотной гостинице... Странно, правда?.. Живу в Москве.

— Я там в двухместном номере...

— Слушай, ты стал хамом.

— Прости! Я не хотел тебя обидеть.

— Ты всегда так говорил! И всегда обижал.

— Извините, молодые люди, помешаю вам. Мне до Калужской надо. А тут на схеме ее что-то не видно.

— Переименовали, папаша. Это сейчас Октябрьская.

— Спасибо, сынок!

— Пожалуйста.

— Да, Витька, а кем ты числишься в своем НИИ?

— Старшим научным.

— Ого! Ты что — уже кандидат?

— Пока нет, но скоро, наверное, буду. У нас это, впрочем, несущественно. Это получается между делом.

— Ты верен себе! То, что для других «дело», для тебя «между делом». Тебе всегда не хватало целеустремленности.

— Смотря к чему.

— Ну, к тому, ради чего вообще живут люди...

— Не надо ссориться, Белка! Мне на следующей выходить.

— Да... не стоит... А как твоя мама?

— Спасибо. Здорова. А как твой?

— Знаешь, они как-то очень быстро сдали. Постарели, сидят почти все время на даче.

— С новым зятем ладят?

— Да! У них полный контакт.

— И твой супруг, наверно, не жалеет времени, чтобы играть с отцом в шашки?

— Они иногда играют... Но папа сейчас редко бывает в Москве... В общем, это перестало быть проблемой. Все проблемы постепенно разрешаются.

— Да... Это только со мной они были неразрешимы.

— Ты просто очень тяжелый человек, Витька. Ты подчиняешь жизнь каким-то химерам и хочешь, чтобы все вокруг тебя делали то же самое. Если говорить честно, мне жалко твою жену. Чтобы жить с тобой в мире, надо отказаться от всего своего, от всего личного. Надо стать рабой.

— Она не жалуется...

— Тебе! А кому-нибудь другому наверняка плачется в тряпочку.

— Не думаю. По-моему, она считает нашу жизнь нормальной.

— Да ни одна уважающая себя женщина не может считать такую жизнь нормальной!.. Просто она не говорит тебе. Ей, наверно, некуда податься... Знаешь, если бы ты сейчас предложил мне отдельную квартиру в Москве, собственную машину и себя самого, совершенно свободного, в придачу, я бы, наверно, все-таки отказалась.

— Что-что?

— Ну, говорю, если бы ты вдруг снова предложил мне свою руку и за плечами у тебя была бы полная свобода, отдельная квартира и своя машина — я бы не согласилась. Я многое поняла за эти годы...

— А-а... Дошло...

— До тебя по-прежнему медленно доходят иные элементарные истины.

— Да... Иные истины доходят медленно...

— Ты что-то скис...

— Нет. Просто мне сейчас выходить. Передавай привет маме и папе.

— Может, ты проводишь меня?

— Извини, Белка! Никак не могу!

— Торопишься?

— Как всегда.

— Ну что ж, передавай привет маме.

— Спасибо. Передам.

— Да, ты хоть иногда встречаешь Юрку?

— Встречаю. Мы переписываемся и иногда подгоняем командировки в Москву. Весной я просто летал к нему в Саратов. А он сейчас собирается ко мне.

— Почему он не звонит? Хоть изредка?

— Не знаю.

— Может, он на что-нибудь обижен?

— Вряд ли. За что он может на тебя обидеться?

— Вот и я думаю. Все-таки столько лет мы были друзьями, одной компанией...

— Да, были...

— В общем, передай ему, что он мог бы иногда и позвонить.

— Хорошо, передам. Ну, до свидания.

— Пока, Витька! Я очень рада, что встретила тебя.

— И я тоже, Белка! Просто очень рад!

— Врешь ведь!

— Нет, искренне! Ты даже не представляешь себе, как я рад!

— Что-то по твоим глазам не похоже.

— Ты никогда не умела читать по глазам, Белка! Может, это главная беда в твоей жизни. Ну, пока, а то меня сейчас втолкнут обратно...

— Пока... Витька! Подожди! Я с тобой!.. Товарищи! Пустите! Дайте выйти! Товарищи! Что же вы делаете?! Пустите!!!

— Прощай, Белка!..

„А откуда у вас сливочное масло?“

Это было самое настоящее сливочное масло! Не какой-нибудь лярд и не перетопленное сало, а настоящее сливочное масло! И оно толстым слоем было намазано на белый хлеб. Совсем так же, как мазали его до войны, когда и белый хлеб и масло запросто можно было купить в любом магазине возле нашего дома.

Я глядел на этот кусок хлеба с маслом и все еще не верил своим глазам. Неужели это для меня? Неужели я вот так просто могу сейчас взять его в руку и съесть?

Я посмотрел на маму. Перед ней лежал такой же кусок хлеба с маслом, и она, видимо, так же боялась к нему притронуться, как и я.

Хлеба с маслом я не ел уже полтора года. С тех пор, как мы уехали из Москвы в Алма-Ату. Кажется, последний раз я ел его в поезде. Тогда у нас еще были московские запасы...

Как жаль, что с нами нет бабушки, что она уже не может идти пешком через весь город и поэтому не пришла сюда с нами! И перед ней лежал бы сейчас кусок хлеба с маслом. А так она его и не увидит. Не унесешь ведь ей половину бутерброда с этого по-царски богатого стола...

Мы с мамой обедаем у Алиных. Мы пришли к ним не просто в гости. Мы пришли по делу — принесли им зимнее пальто моего отца, которое они решили у нас купить. И вот теперь, когда папино пальто уже спрятано в шкаф, а толстые пачки красных тридцаток лежат у мамы в хозяйственной сумке, мы обедаем.

Папино зимнее пальто — это последняя вещь, кото-

рую мы можем продать. Все остальное мы уже продали раньше — за эти невероятно долгие полтора года войны.

Мы продавали сначала папины вещи, потом мамины и бабушкины, потом мои — те, из которых я вырос. И только папино зимнее пальто мы не трогали. Но вот теперь дошла очередь и до него.

Алины, которые купили у нас это пальто, — такие же эвакуированные, как и мы. Только мы из Москвы, а они из Киева. Только мы живем на самой далекой окраине города, на квартире у хозяев, а они живут в центре, и квартира у них жактовская. Только у нас нет ни стола, ни стульев, ни кроватей — все хозяйское, а у них мебель своя, и есть даже настоящий, с зеркалом, совсем как довоенный, шкаф и диван с высокой спинкой, на котором я сейчас сижу. Впрочем, они говорят, что в Киеве у них была мебель лучше...

Маргарита Васильевна Алина, высокая, полная и черноволосая, работает медсестрой в той же больнице, где мама работает врачом. Я хорошо знаю Маргариту Васильевну, потому что она часто дежурит в вестибюле больницы и всегда пропускает меня к маме. А другие дежурные сестры не пропускают. Они вызывают маму в вестибюль, и мне приходится ее подолгу ждать.

Мужа Маргариты Васильевны я вижу в первый раз. Он ниже ее, тоже полный, у него короткие, почти совсем седые волосы, которые почему-то кажутся мне очень жесткими. Я думаю, что если провести по его голове ладонью, то ощущение будет такое же, как если провести рукой по одежной щетке.

У мужа Маргариты Васильевны больное сердце, и поэтому он не на фронте. Сам он об этом не говорит. Это сказала мне мама сегодня утром, когда мы укладывали папино пальто в большую сетку.

Из-за этого большого сердца мне немного жаль мужа Маргариты Васильевны. Ведь он наверняка, как все, хочет на фронт, а его не пускают... И еще я благодарен ему за то, что он покупает папино пальто и нам не придется ходить с ним по толкучке, где его могут просто отнять бандиты или жулики, как отняли однажды у нас с мамой папины брюки.

Сейчас Маргарита Васильевна разливает по тарелкам суп из настоящей белой лапши, и от этого супа на всю комнату пахнет курицей. Куриный бульон и насто-

ящую белую лапшу я тоже не ел страшно давно, наверно, больше года. В столовой, где я по талонам получаю три обеда, ни курицы, ни лапши не бывает. Там каждый день дают суп из черных галушек и на второе тоже черные галушки. Иногда мне удается получить две или три лишние порции такого супа. Это тоже здорово. Тогда можно наесться досыта.

Мне уже давно казалось, что курица, белая лапша и настоящее сливочное масло были только до войны, а теперь их ни у кого нет. Но вот я вижу, что у Алиных все это есть и даже столько, что они могут угостить нас с мамой.

Я стараюсь сдерживать себя, но все равно ем куриный суп торопливо и жадно, и мама укоризненно поглядывает на меня, хотя ничего и не говорит. От хлеба с маслом остался лишь маленький кусочек, и я все не ем его: берегу на закуску после супа.

Видимо, Маргарита Васильевна понимает это. Она неторопливо намазывает маслом еще два куска хлеба и кладет их возле моей и маминой тарелок. Я немедленно проглатываю остаток первого бутерброда и берусь за второй.

Муж Маргариты Васильевны наливает в рюмки вино из графинчика, чокается с мамой и со своей женой и выпивает рюмку до дна. Мама отпивает из своей рюмки лишь глоток и ставит ее обратно на стол.

— Что же это вы? — укоризненно говорит Алин. — Полагается обмыть...

— Коля!.. — строгим голосом говорит Маргарита Васильевна и глядит на своего мужа. Он сразу умолкает.

Через пару минут он снова наполняет все рюмки и снова выпивает свою рюмку до дна. Но на этот раз он молчит, когда видит, что мама отпила лишь глоток.

Я уже очень давно не видел, как люди пьют за столом вино. Последний раз я видел это два года назад, на именинах у своего двоюродного брата. Но тогда еще не было войны... И, может, именно поэтому графинчик с вином и рюмки на столе кажутся мне сейчас очень странными. Даже более странными, чем настоящее сливочное масло.

Вбегает с улицы мальчишка, темноглазый, черноволосый и вообще очень похожий на Маргариту Васильевну. Он меньше меня. Ему, наверно, лет двенадцать.

Он здоровается с нами, берет с этажерки большее увеличительное стекло и снова идет к двери.

— Стасик! Может, ты, наконец, пообедаешь? — говорит Маргарита Васильевна. — Я не буду разогревать тебе второй раз!

— Мне не хочется сейчас, мама! — отвечает мальчишка. — Я лучше потом съем холодное.

Он уходит. Хлопает дверь. Алин глядит ему вслед и негромко произносит:

— Зачем зря пугаешь парня? Все равно ведь разогреешь...

Маргарита Васильевна не отвечает.

Ее муж снова наливает рюмки и снова выпивает свою до дна.

Я думаю о сыне Алиных... Позвали бы меня к такому обеду!..

Маргарита Васильевна встает и наливает всем еще по половнику супа.

— Неси лучше второе! — говорит ей Алин. — Хватит этой!..

— Коля!.. — опять произносит она строгим голосом, подхватывает кастрюлю, уносит ее из комнаты и через минуту возвращается с другой кастрюлей.

На второе — курица с картошкой. В кастрюле — ножки, крылышки... И пахнет так — просто сил нет!

— А в нашей столовой никогда не дают таких обедов, — говорю я.

— Знаю я вашу столовую, — медленно говорит Алин и переводит взгляд с меня на маму. Лицо у Алины сейчас красное, глаза блестят. — Ничего хорошего вы в своей столовой не дождетесь. Она у нас по третьей категории идет. Так и будут в ней одни черные галушки. Вам бы в другую столовую перевестись...

— Нам не дают пропусков в другую столовую, — говорит мама.

— Я вам постараюсь достать, — обещает Алин. — На киностудию. Посмотрите, как их кормят... Месяца на два должно выйти. Они у нас снабжаются... Пусть попробуют отказать...

— Это неудобно, — говорит мама. — Я же там не работаю.

— Ха-ха-ха! — Алин громко хохочет и от этого краснеет еще больше. — Кто сейчас считается с тем, что

удобно и что неудобно?! Это все вчерашние принципы! Я вам сделаю пропуска, а вы при случае сделаете мне бюллетень... Люди должны помогать друг другу...

Мама тихонько опускает на стол вилку.

— Не надо этого, Николай Спиридонович! — просит мама и слегка морщится. — Я не так воспитываю своего сына...

— Смотрите, как бы он не стал несчастным человеком, — глядя в тарелку, глухо произносит Алин.

— Коля!.. — снова говорит строгим голосом Маргарита Васильевна.

Теперь все молчат.

Маргарита Васильевна обглаживает куриное крылышко. Николай Спиридонович наливает себе еще одну рюмку и быстро выпивает ее. Мы с мамой сидим неподвижно и смотрим на них.

— Что же вы не едите? — спрашивает Алин и смотрит на меня. — Ешьте! Или невкусно?

Передо мной на тарелке лежит жирная куриная нога. И целая горка пышного, воздушного картофельного пюре. Я не ел такого роскошного обеда, кажется, сто лет. Но я почему-то не могу теперь все это есть, хотя я по-прежнему очень голоден. И вообще мне сейчас не нравится Алин. Не нравится его красное лицо с выпученными глазами. Не нравится его свиная шетина на голове. И мне уже не жалко его за то, что у него большое сердце! Так ему и надо!

Я перевожу взгляд на масленку, которая стоит посреди стола. В ней еще много сливочного масла. Целых полмасленки! Оно свежее, крепкое. На нем видны маленькие, беловатые капельки воды. Такого масла даже на базаре не купишь... А ведь на базаре оно по пятьсот рублей килограмм. Маме надо работать целый месяц, чтобы получить столько денег.

— А откуда у вас сливочное масло? — вдруг громко, неожиданно для самого себя спрашиваю я Алина. — Ведь его не выдают по карточкам...

Глаза Алина быстро суживаются, темнеют и совсем трезво, с ненавистью смотрят на меня.

У Маргариты Васильевны, наоборот, глаза открываются очень широко и смотрят на меня испуганно, как будто случилось что-то непоправимое.

Я встаю из-за стола. Меня несет какая-то волна, и

я собой уже не управляю, а только гляжу на себя как бы со стороны и удивляюсь.

— Так откуда же у вас сливочное масло? — снова, еще громче спрашиваю я. — Откуда?

Пальто моего отца так и осталось у Алиных. Деньги, полученные за него, мама тратила очень осторожно и поэтому ни разу не купила на них сливочного масла.

Пропусков в столовую киностудии мы, конечно, не получили. Поэтому я до сих пор не знаю, как кормили в Алма-Ате кинематографистов в годы войны.

Сейчас я работаю в газете. И часто пишу фельетоны. И уже не задаю наивных вопросов, когда вижу у людей то, что невозможно заработать честным трудом...

Ксения и я

1

Глупее ничего не придумаешь: на носу Первое мая, а я сломал ногу. Нужно быть удивительно невезучим человеком, чтобы так испортить себе праздник. Все пойдут на демонстрацию, потом будут танцевать на вечеринках, бродить по ночному городу, а я должен лежать в постели и созерцать противный гипсовый сапог, в который теперь обута моя нога.

Володька, который из всей бригады прибежал ко мне первым, рассказывал, как в бригаде известие о том, что я сломал ногу, вызвало прежде всего смех.

Я даже не удивился. Это же на самом деле смешно: быть монтажником-верхолазом, работать изо дня в день на высоте четырнадцатого этажа и схлопотать себе гипс, спускаясь в своем доме по шикарной бетонной лестнице.

Бригадир Ксенофонт Чагин, которого мы зовем просто «Ксеньей», так прямо и сказал, узнав о моей беде:

— Ну, это надо уметь!

Главное, вначале я был убежден, что все это пустяки. Ну, подумаешь, подвернулась нога, растянулись там какие-нибудь сухожилия, через три дня они стянутся обратно, и все будет в порядке. До Первого мая можно успеть... Поэтому, когда врач посмотрел на свет рентгеновскую пленку и сказал, что у меня перелом и мне положат гипс, я даже не поверил. Подумал, он шутит, пугает меня.

Но врач не шутил. Через пять минут мне уже на са-

мом деле накладывали гипс, а еще через полчаса я, как маленький, прыгал на одной ноге от дверей поликлиники до стоявшего у края тротуара такси.

Так вот нелепо, глупо и началась болезнь, перевернувшая все мои праздничные планы.

Валюшка, конечно, еще ничего не знает. Позвонить ей я не могу: дома у меня нет телефона, а встретиться мы договорились только завтра вечером. Еще обидится, когда увидит, что меня нет. Надо бы ей телеграмму что ли дать... И как это я, дурень, не сообразил сказать Володьке насчет телеграммы? Теперь жди, пока он снова придет! Тетя Катя ведь ей телеграмму не отправит. Принципиально! Она слышать о Валюшке не может, считает, что Валюшка меня «окрутила», что мы женимся слишком рано... Да мало ли что она там считает! Что она понимает в любви, эта тетя Катя? Говорит, будто в человеке сразу не разберешься, будто надо друг друга проверять годами, ждать какой-то самостоятельности... Это в наш-то век проверять друг друга годами! Люди уже вокруг Земли на ракетах летают, всюду космические скорости, а я буду до старости приглядываться к Валюшке и определять, на самом или не на самом деле она меня любит. Чепуха какая! Мы с Валюшкой уже достаточно знаем друг друга, чтобы верить и не проверять. Вообще, в наш век отношения людей определяются гораздо быстрее, чем во времена тети Катиной молодости. Если подлец, так он сейчас сразу виден, что подлец. Если настоящий человек, тоже сразу виден. Вот, например, наш Ксения. Он за любого члена бригады горой стоит. Никого в обиду не даст.

Когда Лешка Шаповалов уезжал на два месяца к больной матери и его хотели отчислять из школы рабочей молодежи, так какой тарарам Ксения поднял! Ходил к директору школы, в районо, стучал там кулаком по столу и доказывал, что если бригада борется за звание бригады коммунистического труда, то никто не имеет права отчислять ее члена из школы. И доказал! Оставили Лешку. А со мной... Разве пообещали бы мне комнату в первом же доме, если бы не Ксения? Конечно, нет! А он ходил в комитет комсомола, в постройком и даже в партком и всюду говорил, что монтажник-высотник комсомолец Геннадий Корняков (это я, значит) собирается жениться и что не дать ему в этом слу-

чае комнату — значит оскорбить всех высотников стройки. И ведь Ксения сам в общежитии живет! Ему бы тоже комната не помешала. А он о себе и не заикается. Вот это я понимаю — товарищ! Вот это бригадир!

Сейчас мы с Валюшкой ждем эту комнату. И вот будет весело, если я на новоселье потащусь с гипсовым сапогом. А я еще хвалился — обещал нашим геодезисткам, что на своем новоселье научу их танцевать настоящую румбу. Сейчас даже страшно подумать — я и в гипсе-то не могу на ногу наступить, а не то что румбу! Тут как бы вообще хромым не остаться. Врач сказал, что перелом нехороший, что могут быть и последствия.

Вот будет весело!

2

Интересно, что думают родители, когда дают своим детям имена? И думают ли они вообще? Ну, мне еще имя дали терпимое — Геннадий, Генка, Гена... С таким именем жить можно, хотя я, например, предпочел бы Григория или Михаила. Наверно, это потому, что все Гришки и Мишки, которые встречались мне в жизни, были веселыми и озорными. Обязательно назову так своих сыновей, когда они у меня будут.

А вот, например, имя Валя к моей Валюшке совсем не подходит. Моя Валюшка тоненькая, задумчивая, с длинными каштановыми косами, которые она не хочет стричь, даже несмотря на то, что все студентки на ее курсе давно уже с косами расстались и делают себе или прическу «Бабетта», или последнюю, самую «стильную» прическу — «Полюби меня, Гагарин». А Валюшка никаких причесок не делает. Ходит с косами — и все. Главное ведь — кому что идет...

И еще у Валюшки красивые серые глаза. Они чуть продолговатые и грустные. Я не знаю, почему они грустные. Валюшка вообще-то человек веселый. Но все говорят, что глаза у нее грустные, и я тоже вижу, что они у нее грустные.

Я убежден, что девушку с такими глазами и с такими косами лучше всего было бы назвать Таней. Может быть, потому, что именно такой я всегда представлял себе пушкинскую Татьяну. Когда я увидел Валюшку

в первый раз, я так и подумал, что ее зовут Таней. Но потом оказалось, ошибся. Правда, тут родители, конечно, не могли угадать.

Но вот уж чем руководствовались родители, когда давали своему сыну имя Ксенофонт, я никак понять не могу. По-моему, такое имя только со зла можно дать. Или еще по глупости.

Как вот нашему бригадиру с таким именем быть? Как должны его звать люди, которые с ним не по имени-отчеству, а просто так, по-товарищески? Ксеней? Это только в шутку можно или в насмешку. Женское ведь имя-то! Мы уж так-то, среди своих, зовем его Ксеней, смирился он с этим, а при посторонних не позорим: на полную катушку величаем — Ксенофонтом. Тоже, как говорится, не радуга! Парень он толковый, десятилетку кончил, в партию собирается вступать. И собой видный — высокий, красивый. Никак не подходит к нему имя Ксения. Заморыша какого-нибудь так называть — не беда, а бригадира верхолазов неловко. Просто очень даже неловко...

В общем, намудрили Ксенины предки, явно намудрили!

Я раньше об этом как-то совсем не думал. Наверно, некогда было. А сейчас вот делать нечего, лежишь и думаешь обо всякой ерунде.

Ксения только сегодня утром у меня был. Пришел, притащил зачем-то яблок и долго ощупывал мой гипсовый сапог. Чего он в нем интересного нашел, никак не пойму. Но я уж не мешал: вижу, человек внимание проявляет. Зачем, думаю, смущать — смотри...

После Ксени ко мне заглянул Володька. Я с ним сразу же договорился, чтобы он Валюшке телеграмму дал, а то ей звонить — дело долгое. Да и не застанешь ее в общежитии: бегаёт, небось, после лекций по институту. У нее ведь полно всяких нагрузок. В общем, Володька обещал.

И вот только сейчас он прибежал снова сказать, что все в порядке: телеграмма отправлена, и я могу болеть себе на здоровье. Валюшка, как получит — сразу примчится. И еще Володька рассказал, как они с Ксеней заходили в поликлинику, где мне наложили гипс, как Ксения без очереди прорвался к хирургу, выпросил у него все о моей ноге, заглянул даже в историю болезни

и потребовал, чтоб ему показали рентгеновский снимок перелома. Больше всего Ксеню интересовало, смогу ли я снова работать на высоте. Хирург ему ничего определенного не ответил, и Ксения очень расстроился. Володька говорит, что всю дорогу из поликлиники бригадир молчал, а это у него бывает редко.

Когда Володька выпалил мне все это, надел свою кепочку и убежал, я почему-то прежде всего представил себе, как хмуро шел по улице Ксения, откинув назад копну своих золотистых волос. Хороший он парень, настоящий товарищ! Ведь наверняка завтра пойдет в постройком требовать для меня путевку или еще там что. А мне эта путевка, как говорится, до лампочки! Мне сейчас больше всего нужна комната, чтобы мы с Валюшкой могли пожениться. Я ведь все равно ни на какой курорт без нее не поеду.

Но вдруг я со страхом начинаю думать: а что, если и впрямь с ногой будет неладно. Ведь никто не пустит меня на высоту, если нога будет ненадежна. Что тогда? Работать на земле? Идти в мастерскую слесарем? А как же высота?

3

Валюшка приезжает вечером. Глаза у нее сухие, но красные. Значит, она где-то плакала, в общежитии или по дороге. Зачем? Никак, видно, женщина не может без слез. С горя ли, с радости — все равно плачет. Валюшка даже заплакала, когда я ей в любви объяснился. Я тогда спросил: «Ты чего?» А она всхлипывает и отвечает: «Мне раньше все какие-то неприятные объяснялись, противные, а ты — хороший». — «Чего же, — спрашиваю, — плакать-то из-за этого?» — «Не знаю», — говорит, а сама все плачет и плачет. Так вот и объяснились...

А сегодня, значит, тоже плакала. Чудно! Чего плакать? Я ведь живой!

Я знакомлю Валюшку с тетей Катей. Тетя Катя очень сухо здоровается, потом садится в углу, поджимает губы, смотрит на нас и молчит. И мы тоже с Валюшкой смотрим друг на друга и молчим. Почему-то при тете Кате не говорится.

Я все жду, что тетя Катя догадается, уйдет куда-

нибудь. А она не уходит. Видно, не хочет. Чудачка! Неужели она думает, что этим расстроит у нас что-нибудь? Право слово, чудачка! Ведь вот знаю, что она меня любит, вижу, что заботится обо мне, а такая злость сейчас на нее берет — просто слов нет!

Наконец, я не выдерживаю и говорю ей.

— Тетя Катя! Может, ты чайку нам сделаешь?

Тетя Катя молча поднимается, уходит на кухню, и сердито гремит там чайником.

Валюшка сейчас же бросается ко мне, целует меня в губы, в лоб, в щеки, и я целую ее и говорю всякие ласковые слова. Но тут мы слышим, как из кухни тяжелыми шагами идет тетя Катя, и еле успеваем отодвинуться друг от друга. Когда тетя Катя входит, я снова лежу на подушке, а Валя ровно сидит на стуле.

— Поставила я чайник! — громко говорит тетя Катя. Она опять садится в свой угол, складывает руки на коленях и молча смотрит на нас. Мы тоже молчим и смотрим друг на друга. У Валюшки в глазах слезы. Хорошо еще, что она сидит к тете Кате спиной, и слез из угла не видно.

Чтобы выручить Валюшку, я начинаю рассказывать, как подвернул ногу, как допрыгал на одной ноге до мостовой и стал ждать такси. Хорошо, рядом дерево было, так я о него оперся, стою, как аист. В общем, рассказываю все по порядку. Надо же о чем-то говорить.

Пока я рассказываю, Валюшка приходит в себя, смахивает слезы и тоже начинает спокойно рассказывать про свои институтские дела, про то, что скоро зачеты, а надо еще студенческую научную конференцию провести, про то, что послезавтра майский вечер и она обещала девочкам познакомить их со мной, а теперь вот ничего не выйдет, и вообще вечер этот ей теперь ни к чему.

— Зачем так? — говорю я. — Тебе все равно стоит пойти. Там же будет весело!

— Весело? — Она усмехается. — Тебе было бы весело, если бы я лежала со сломанной ногой?

Я молчу. Пытаюсь представить себе это.

— Нечего мне там без тебя делать, — добавляет Валюшка. — Я с тобой посижу.

Я вижу, как за ее спиной, в углу, тетя Катя, не произнося ни слова, одобрительно кивает.

Потом тетя Катя идет на кухню посмотреть чайник, и мы снова торопливо целуемся и снова отшатываемся друг от друга, когда слышим в коридоре тяжелые шаги.

Тетя Катя молча накрывает на стол, достает свое лучшее, вишневое варенье, так же молча придвигает стол к моей кровати и коротко приглашает:

— Давайте пить!

И мы, обжигаясь, пьем горячий чай, и тетя Катя начинает неторопливо расспрашивать Валюшку о ее родителях и родственниках, хотя я ей уже говорил, что родители у Вали — сельские учителя, живут в глухой деревушке, далеко даже от районного центра, что в городе у Валюшки никаких родственников нет.

Затем тетя Катя начинает говорить сама, вспоминает, как я был маленьким, как озорничал. Она даже вытаскивает из шкафа старые фотографии и раскладывает их перед Валюшкой.

Я понимаю, что Валюшка ей понравилась.

А потом тетя Катя вдруг начинает собираться к своей подруге, к которой давно обещала зайти.

— Хорошо, что вы тут, — говорит она Вале. — Все ему одному не сидеть... Забыла я из-за него про все свои обещания...

Она надевает пальто и уходит.

Несколько минут после ее ухода мы сидим неподвижно, точно боимся, что тетя Катя что-нибудь забыла и вот-вот вернется. Но она не возвращается.

Я смотрю в Валюшкины глаза. Они ясные-ясные, счастливые-счастливые. И вовсе никакой в них нет грусти. Ошибаются все, когда говорят, что они грустные. Разве кто-нибудь понимает в Валюшкиных глазах больше, чем я?

Мы снова целуемся и до прихода тети Кати мало что говорим в этот вечер.

4

Когда лежишь целыми днями в постели, чего только не передумаешь! Читать в конце концов устаешь, радио слушать надоедает, и остается только, закрыв книгу и выключив радио, думать. Это не надоедает. От этого не устаешь.

Иногда я думаю о том, как мы с Валушкой будем жить в своей комнате. Можно, кажется, просто поглотить от того счастья, которое я себе представляю в эти минуты. Подумать только: пришел с работы, помылся, и до самого утра можно не расставаться! Можно без конца смотреть, как она ходит по комнате, занимается, шьет что-нибудь. Можно сколько хочешь целоваться и не оглядываться при этом по сторонам, не бояться, что вот-вот без стука откроется дверь и кто-то войдет. Можно даже, черт возьми, просто запереть дверь на крючок и не впускать к себе никого, если вдруг попадутся назойливые соседи.

Ей-богу, люди, которые живут со своими любимыми в отдельных комнатах, должны быть счастливы уже только оттого, что они вдвоем и могут ни на кого не оглядываться. Мне очень жалко тех, кто не ценит этого.

А до чего хорошо будет у нас в комнате! Мы купим только самое необходимое, самое нужное. И никакого барахла! Тахту, хельгу, стол и стулья. Все! Книжную полку я сколочу сам. Ну, может, еще шезлонг. Нужен — разложил его, не нужен — убрал. И ничего больше! Чтоб в комнате было просторно! Чтоб воздуху было много! Чтоб было где потанцевать, когда придут ребята! Они ведь обязательно будут приходить к нам.

Ребята... Сейчас даже как-то странно, что год назад я никого из них не знал. Даже не знал, что они существуют. Служил в армии, чистил свою «мортиру», как старшина называл наше орудие, а монтажников-высотников видел только в кино. И, если бы я после демобилизации не поссорился с отчимом и не хлопнул дверью, может, до сих пор я не знал бы наших ребят. Но я поссорился. И хлопнул. И уехал. И ни капельки не жалею об этом. Противно жить рядом с человеком, который делает подлости и еще говорит, что делает их ради тебя.

Впрочем, ладно! Шут с ним, с отчимом! Не хочется о нем вспоминать. Наверняка никогда в жизни больше таких не встречу!

Ребятам я до сих пор еще не рассказывал о нем. Да они ни о чем и не спрашивали. Пришел в бригаду — и ладно. Работай себе на здоровье. Ксения только один поинтересовался, кто у меня отец, кто мать.

Я ответил, что отца нет, мать учительница, и замолчал. Он больше и не спрашивал ничего.

В бригаде тогда было десять человек, и бригадирствовал не Ксения, а спокойный, неторопливый Андрей Салеев. Ксения был его заместителем. Потом Андрея перевели в другую бригаду, где бригадира выгнали за пьянку. Ксения стал нашим начальником, а в заместители себе выбрал Михаила Кельбу — такого же спокойного и немногословного, как Андрей Салеев.

Кельба — сибиряк, много лет прожил в Тобольске и до сих пор считает, что зимой красивей Тобольска города нет.

Среди нас всех Кельба — самый «старый». Ему уже стукнуло двадцать шесть, у него жена и даже дочка. Из-за жены-то он и приехал в наш город из своего Тобольска. У тещи здесь просторный собственный дом, и, хотя Кельба ее не очень любит, а теща его и вовсе не любит, жить приходится у нее. Больше нигде.

Все остальные наши ребята моложе. Ксене и мне — по двадцать два. Двоим — по двадцать четыре, одному — двадцать, а Володька Красулин и Лешка Шаповалов — вообще младенцы. Им исполнилось по восемнадцати, и только осенью их должны призывать в армию.

Бригада наша самая молодежная на стройке. Держимся мы всегда вместе, на вечера в клуб строителей приходим гурьбой, и у девчат нашей стройки считается шиком дружить с кем-нибудь из «чагинской» бригады. Так нередко называют нас по фамилии бригадира — Ксени Чагина.

На стройке ходит немало всяких легенд про нашу бригаду. Они стали появляться после того, как однажды, во время дежурства дружины строителей в парке, мы поймали матерого бандюгу с двумя финками и кастетом. Ничего более выдающегося во время наших дежурств не произошло, если, конечно, не считать того, что в штабе городских дружин я и познакомился с Валушкой. Однако после этого на стройке стали рассказывать про нашу бригаду бог весть что. Однажды знакомая девчонка из бригады штукатуров вполне серьезно спросила меня на комсомольском собрании:

— А правду говорят, что ваша бригада задержала две шайки грабителей?

Я сделал каменное лицо и на таком же полном серьезе ей ответил:

— Врут! Мы разоблачили десять шпионских гнезд. А грабители — это мелочь. Мы их не считаем!

Она посмотрела на меня сначала с испугом. Потом, видно, до нее дошло, что я шучу, и она робко улыбнулась. Насчет шпионов она, конечно, не поверила. Но насчет двух шаек грабителей теперь, наверно, не сомневалась.

Однажды мы шли вечером всей гурьбой из кино и вежливоенько оттерли двух пьяных, которые прицепились к худеньким девушкам в пышных юбках и с руганью тянули их в какой-то двор. Пьяные, увидав, что нас много, сразу скисли и отстали. Девчат мы благополучно довели до дому. Потом оказалось, что девушки эти с нашего лесозавода, что они нас узнали, и опять постройке поползли всякие небылицы.

Но все это были только разговоры. А о том, что на самом деле как-то случилось у нас в бригаде, никто не знал, и мы об этом никому не рассказывали, боясь, что Ксене достанется за нарушение техники безопасности.

Если бы об этом случае узнали, Ксене могло бы влететь очень крепко, потому что тогда Володька Красулин чуть не разбился, и только каким-то чудом, каким-то прямо цирковым трюком Михаил Кельба его спас.

Когда нашим бригадиром был Андрей Салеев, он всегда следил, чтобы, работая на высоте, мы обязательно пристегивались цепями к петлям колонн или балок. Если он видел, что кто-то работает непристегнутым, он жутко ругался и предупреждал:

— Еще раз увижу — выгоню из бригады.

И все знали, что на самом деле выгонит. Он такой.

А Ксения на это не обращал внимания. Он сам часто работал непристегнутым и не требовал этого от нас. Время нам всем было дорого, а пристегиваться и отстегиваться — долго. Это ведь раз двадцать, а то и больше на дню делать надо. Вот мы и стали пристегиваться только тогда, когда забирались очень уж высоко или нужно было долго работать на одном месте. А если сварки на пять минут, мы не теряли времени на возню с цепями.

И вот один раз это подвело. Володька, работавший на балке стоя, потерял равновесие. Михаил Кельба сидел верхом на балке на метр ниже Володьки. К счастью, в этот момент Кельба отдыхал, сидел без рукавиц, прислонившись спиной к колонне, защитный щиток у него был поднят на лоб, и поэтому он увидал, что Володька покачнулся. Как Кельбе удалось поймать Володьку за руку, он и сам до сих пор не понимает. И Володька этого тоже не понимает. Когда мы услышали крик, Володька уже висел на руке Кельбы, а Кельба лежал на балке, обхватив ее ногами и одной рукой. И по его неподвижности мы поняли, что он не пристегнут и поэтому не может протянуть Володьке вторую руку: тогда они сорвутся оба.

Мы оцепенели. На одной руке долго не провисишь. Под Володькой — двадцать метров, и внизу ребра железобетонных балок.

Ксения была к Володьке с Кельбой ближе всех. Может, поэтому он и опомнился первым. Он крикнул: «Держись!» и кинулся по балкам бегом, слегка балансируя руками.

Минуты через две он уже был возле Кельбы, нагнулся над ним, поднял цепи его пояса и пристегнул их к кольцу в колонне.

Кольцо было далеко, цепи натянулись, и Кельба, почувствовав новую точку опоры, оторвал от балки вторую руку, поймал ею вторую руку Володьки. Через минуту Володька уже сидел на балке, и Кельба держал его за пояс.

После этого в обеденный перерыв Ксения строго-настрого приказал всем пристегиваться и стал пристегиваться сам. Однако уже через месяц все пошло по-старому, и только Володька до сих пор свято соблюдает все правила техники безопасности.

Да... Вот об этом мы никому не рассказываем. Совершенно никому, хотя один дотошный корреспондент долго пытался, не было ли у нас случаев, когда кто-нибудь кому-нибудь спас жизнь. И зря он это пытался. Даже если где и было такое, по-моему, ни в одной бригаде ему этого не расскажут.

...Мои размышления прерывает удар грома. Я смотрю в окно и вижу, что на улице собирается гроза. Грозу я люблю. И особенно люблю последние минуты перед

грозой, когда кругом темнеет, люди разбегаются кто куда, деревья замирают в сладком испуге, и только ветер по-мужски торопливо прибирает улицы, стараясь распахать куда-нибудь пыль и сор.

Я беру палки, которые стоят возле моей кровати, и потихонькудвигаюсь к окну. На сломанную ногу уже можно легонько наступать. Конечно, не на всю ступню, а только на пятку.

Когда я останавливаюсь возле окна, на улице уже падают первые крупные капли дождя. Они сразу делают рябыми тротуары и подгоняют последних прохожих.

Затем дождь налетает порывом, вместе с ветром, и после этого все усиливается и усиливается.

Я смотрю на пустую улицу, на дождь и думаю о том, что ребята сейчас, наверно, уже спустились вниз, собрались в будочке, где мы обедаем, сидят и курят. В будочку наверняка набились еще девчата из бригады разнорабочих, и там сейчас шутки, смех и острые словечки, как мячики, прыгают в воздухе. А в самом темном углу тонкий, чернобровый Лешка Шаповалов, который отличается удивительной несдержанностью по отношению к женскому полу, уже оглаживает какой-нибудь дивчине руки, да, может, и не только руки. Во всяком случае, дальнейшие успехи наверняка зависят от самой дивчины, а не от Лешки, потому что за ним дело не станет...

В коридоре раздается звонок. Я знаю, что в квартире никого нет, и потихоньку ковыляю к двери. Когда я выбираюсь в коридор, звонят снова. Я кричу: «Сейчас! Подождите минутку!» и продолжаю ковылять. «И кого это несет в такую грозу?» — думаю я.

За дверью стоит Ширков. И рядом с ним Надя Бульина. Это члены нашего постройкома. Ширков — председатель и поэтому сидит в кабинете. Иногда, впрочем, он появляется и на объектах. Однако делать ему там явно нечего, и он быстро уходит. Надя Бульина — штукатур. Она отвечает в постройкоме за какой-то сектор, но в кабинете не сидит, работает в бригаде, и, в общем, она неплохая девчонка. Ее знает вся стройка, и, кажется, уже не в первый раз ее выбирают в постройком.

— Здравствуй, удалец! — громко, немного скрипуче говорит Ширков.

— Здравствуйте, — отвечаю я. — Проходите.

Я ковыляю впереди, распахиваю дверь в комнату, пропускаю гостей.

Ширков проходит в дверь первый. Маленький, квадратный, он идет, как хозяин, как начальник. Начальственность чувствуется в каждом его шаге, в каждом жесте. Надя проходит за ним. Она тоненькая, высокая, даже чуть-чуть выше меня и намного выше Ширкова. Наверняка она могла бы запросто, не понимаясь на цыпочки, разглядеть во всех подробностях лысину Ширкова, если бы вдруг у нее появился к этому интерес. От этой мысли мне становится смешно, и я задерживаюсь в коридоре, чтобы согнать с лица непрощенную улыбку.

И Ширкова и Надю дождь слегка прихватил. На их одежде крупные расплывшиеся пятна дождевых капель.

Я сажусь на кровать, гости — на стулья возле нее, и Ширков бережно кладет на стол кулек, из которого выкатывается яблоко.

— Вот мы тут тебе принесли...

Я смущенно благодарю. Мне очень неловко. Когда я сам приношу гостинцы больным — это вроде в порядке вещей. А вот когда мне приносят — делается как-то не по себе.

Ширков неторопливо, по-хозяйски, оглядывает комнату, задерживаясь глазами на каждой вещи, как бы оценивая ее. Надя с жалостью смотрит на мой гипсовый сапог и тихонько спрашивает:

— Больно?

— Сейчас уже нет, — спокойно отвечаю я.

— Совсем не больно? — Надя явно удивлена.

— Совсем не больно, — подтверждаю я. — Только сильно наступать, конечно, нельзя, поворачивать там и всякое такое. А если осторожно — ничуть не болит.

— Значит, перелом не очень большой?

— Так себе... Средненький.

Я замечаю, что Ширков с интересом прислушивается к нашему разговору. Когда я замолкаю, он четко, немного скрипуче спрашивает:

— Ну, а что врачи говорят? Работать-то будешь?

— А куда же денусь? — с улыбкой отвечаю я. — Конечно, буду!

— Вообще-то, понятно, будешь, — соглашается Ширков. — А на высоте?

— И на высоте буду. — Я пожимаю плечами. — Заживет же нога!

— Да по-разному заживает. — Ширков задумчиво чешет затылок. — Бывает, после такой заживки профессию приходится менять.

— Обойдется!

Я говорю это как можно равнодушнее, но сам снова начинаю беспокоиться: а вдруг действительно не смогу работать на высоте? Вот ведь и Ксения интересовался этим у врача... Что же это — с бригадой расставаться?

Впрочем, лучше об этом не думать. Все равно, думай не думай — ничто не изменится. Снимут гипс, тогда видно будет.

Я спрашиваю Ширкова и Надю о делах на стройке.

— Хорошие дела! — солидно отвечает Ширков. — План четырех месяцев выполнили на сто три и четыре десятых процента. Это по генподряду. А своими силами еще больше — на сто двенадцать.

Ширков так же солидно, с гордым видом умолкает, и я понимаю, что он дал, по его разумению, исчерпывающую характеристику положения на стройке. Я рад, конечно, что у нас хорошие проценты, но меня интересуют не они. Ширков же, видимо, ничего больше рассказывать не собирается.

Надя чувствует какую-то неловкость и начинает торопливо говорить о делах в своей бригаде. Я вежливо слушаю. Ее бригада штукатурит новую больницу и именно в эти дни — морг. Я понимаю, конечно, трудовой энтузиазм штукатуров, но почему-то сегодня он меня не волнует. Наверно, потому, что ни в новую больницу, ни тем более в морг я пока не собираюсь.

Видимо, Надя понимает, что говорит что-то не то, и растерянно умолкает на полуслове.

Теперь на выручку к ней бросается Ширков. Он начинает расспрашивать меня, кто за мной ухаживает, где и кем работает тетя Катя, как она ко мне отно-

сится и почему я не могу жениться, пока живу в этой комнате.

Я, как могу, объясняю ему, намекаю на отношение тети Кати к Валюшке, да и вообще, говорю, комната не моя, а если бы и была моя, то в одной комнате с теткой жить молодоженам неудобно.

— Оно, конечно, лучше бы отдельно, — замечает Ширков. — Да сейчас многие живут вместе. Не хватает...

Мне вдруг начинает казаться, что Ширков и Надя пришли вовсе не для того, чтобы меня навестить, а для того, чтобы подготовить меня к отказу. Видимо, комнату мне давать не собираются. Верить этому не хочется, потому что верить — страшно.

Вначале я хочу прямо спросить об этом Ширкова. Потом соображаю, что он может обидеться: вот, мол, пришел навестить человека, а он...

Я пытаюсь перевести разговор на другое: говорю о сегодняшней грозе, о кинокартине «Чистое небо», которую успел посмотреть, пока нога еще была цела. Надя невпопад отвечает мне и все время оглядывается на Ширкова. Ширков молчит и только время от времени важно кивает. Надя снова смотрит на меня, и я вижу, что взгляду у нее очень уж сочувствующий. Толи ей жалко меня, потому что я сломал ногу, то ли просто она знает такое, чего я не знаю.

От всего этого мне становится как-то не по себе, и я, честно говоря, уже не рад, что они пришли.

Мы неловко молчим. С улицы доносятся уходящие раскаты грома. Дождь кончился. Сквозь тучи снова прорывается солнце.

В это время в коридоре щелкает замок. Я понимаю, что пришла с работы тетя Катя, и очень рад этому. Все какая-то разрядка.

Тетя Катя входит в комнату, я знакомлю ее с гостями, и сразу же вслед за этим она извиняется, убегает на кухню и гремит там чайником.

Ширков долго и тяжело глядит ей вслед, на дверь, явно что-то соображая, потом медленно поднимается и скрипуче произносит:

— Ну, мы пойдем. Пора.

— Да куда вы спешите? — говорю я. — Сидите. Чаю сейчас попьем...

— В другой раз, — твердо говорит Ширков. — Сейчас нам некогда.

И он протягивает мне руку.

Мне остается только попрощаться. Они выходят из комнаты. Я слышу, как в коридоре их еще пытаются убедить в чем-то тетя Катя. Скрипучий голос Ширкова произносит нечто неразборчивое, и вслед за этим хлопает выходная дверь.

— Как не с добром приходили, — говорит тетя Катя, входя в комнату. — Не люблю я, когда гость откусывать боится.

На другой день после работы ко мне буквально влетает Володька Красулин. Глаза у него вытаращены, на лбу и на конопатом носу блестят крупные капли пота. Он забывает поздороваться и сразу выпаливает:

— Генка! Надо действовать!

— Как? Зачем?

— Сейчас расскажу! — Володька бухается на стул и ловит ртом воздух. — Фу! Знаешь, как мчался?

Я наливаю ему стакан воды. Он залпом выпивает его и начинает вытирать носовым платком пот. Затем, наконец, произносит:

— Тебе не хотят давать комнату!

— Почему?

Я говорю это резко и сразу же вспоминаю вчерашний визит Ширкова. Неужели я был прав?

— Никто ничего толком не знает, — говорит Володька. — Принес эту новость после обеда Кельба. Его жена печатала списки. Ты из них вычеркнул.

Жена Кельбы работает машинисткой в конторе стройки. Значит, новый дом уже делят! Почему же меня вычеркнули?

Я снова задаю этот вопрос Володьке. И он снова отвечает:

— Я ж тебе сказал, что никто толком ничего не знает. Мишкина жена вроде поинтересовалась в постройкоме, почему тебя вычеркнули, а ей сказали, что неизвестно: будешь ты теперь работать на стройке или нет. Надо, мол, вначале обеспечивать твердые кадры, а с тобой выяснится потом.

— Кто это ей сказал?

— А черт его знает, кто! Во всяком случае, не Ширков. Она его не видала.

— Чепуха какая-то! — говорю я. — Не верится!

— Вот и мы то же самое сказали! Ксения расшумелся. Я, говорит, схожу в постройком, я им покажу! Он специально и ушел пораньше. Чтобы Широкова застать. Наверно, оттуда к тебе придет.

Я облегченно вздыхаю. Раз за это дело взялся Ксения, значит, все будет в порядке. Он пробьет, что угодно.

Мы долго сидим с Володькой, играем в шахматы, пьем чай, болтаем и ждем Ксению. А его все нет.

Приходит Валюшка. Володька сразу глядит на часы, прощается и уходит. И тетя Катя уходит в магазин. Я целую Валюшку и все прислушиваюсь: не раздастся ли в коридоре звонок. Но звонка все нет.

— Ты ждешь кого-то? — спрашивает Валюшка.

— Да нет! — Я бодро улыбаюсь. — Просто боюсь, чтобы тетя Катя не застала нас врасплох.

— Я услышу! — Валюшка гладит мои волосы.

Я не говорю ей ничего о комнате. Мне не хочется расстраивать Валюшку. Она сегодня такая радостная... Я жду, что вот-вот раздастся звонок, придет Ксения и скажет, что все в полном порядке. Тогда можно будет и рассказать.

Но Ксения в этот вечер так и не приходит.

На другой день Володька снова прибегает ко мне после работы и рассказывает, что Ксении в постройкоме обещали все уладить, и волноваться мне не о чем. Ксения, мол, так и сказал: волноваться Генке не о чем.

— Чего ж он сам-то не пришел? — спрашиваю я.

— А он разве у тебя не был? — Володька удивленно таращит на меня свои голубые глазки.

— Не был.

— Странно! Я думал, был. Ну, может, не успел. Ничего! — Володька ободряюще хлопает меня по плечу. — Сегодня зайдет. Может, с девочкой там свидание было назначено... Не у тебя же одного...

Я соглашаюсь: конечно, если было назначено свидание... О чем тут говорить?

Я снова жду Ксению весь вечер, и снова он не приходит. Почему он не приходит?..

Олег Саранчин приходит ко мне совершенно неожиданно. Меньше всего я ждал, что он придет. Сейчас он в другой бригаде, на работе мы видимся редко... Конечно, он хороший парень и раньше работал в нашей бригаде. Но мало ли у нас на стройке хороших парней?

Сейчас Олег в бригаде Андрея Салеева. Он ушел в эту бригаду сразу же, как Андрея перевели от нас. Мы и тогда не поняли ухода Олега и до сих пор не понимаем его. Конечно, Андрей — хороший бригадир. Но он и Олег никогда не были очень уж большими друзьями. Работали вместе, не ссорились — вот и все. Стоит ли из-за этого уходить?

Михаил Кельба как-то проговорился, что Олег не любил Ксению. Почему, за что — никто не знает. После того, как Кельба сказал это, я вспомнил, что Ксения не уговаривал Олега остаться, отпустил его очень легко и потом ни разу не вспоминал о нем. А ведь Олег — превосходный монтажник. Он знает и газорезку, и электросварку, и с геодезическими приборами работает не хуже иного геодезиста. Такому парню везде рады.

Однако потом я забыл и о словах Кельбы и о странном равнодушии Ксении. Как-то не до того было. И вот сегодня, когда высокий, смуглый, кудрявый Олег пришел ко мне, я почему-то все это вспомнил.

Мы долго играем с Олегом в шахматы, потом тетя Катя ставит нам на стол чай, потом мы снова играем в шахматы и говорим о всякой всячине.

Олег говорит мне, что Андрей Салеев сейчас на армейских сборах, вернется только в июле и боится, что не успеет толком подготовиться к вступительным экзаменам в филиал заочного строительного института, который с осени открывается у нас на стройке.

Я тоже давно решил поступать в этот же филиал и говорю об этом Олегу.

Он подмигивает.

— У нас там будет веселая компания. Я ведь тоже готовлюсь. И еще один парень из нашей бригады пойдет.

— Кто?

— Ты не знаешь его — Макаров. Он у нас недавно. Вообще-то он просился в вашу бригаду... У вас ведь самая молодежная! Все просятся...

— Ну, и почему он попал к вам? — интересуюсь я. — У вас ведь и так народу больше.

Олег недобро усмехается.

— Не взял его Ксения. Побоялся.

— Чего боялся? — не понимаю я.

— За карьеру свою побоялся, — поясняющим тоном говорит Олег. — Макаров-то из заключения. Сидел за хулиганство. Вышел — решил вести себя правильно. Попросился в молодежную бригаду. Ну, а Ксения не взяла. Сказал, мы, мол, боремся за звание, нам бывшие уголовники ни к чему...

— Не может быть, Олег! — решительно говорю я. — Ты что-то путаешь!..

— Ничего я не путаю! — Олег уже говорит вполне добродушно. — Все так и было.

— Что-то не похоже на Ксению...

— Как раз очень похоже! — Олег говорит это твердо, убежденно. — Ты его еще не знаешь. А я с ним в школе учился. Он знает как продавать умеет! Тонко, с дипломатией, красиво! Прямо как на сцене!

— Да брось ты, Олег!

Мне неприятен этот разговор. Я привык уважать Ксению.

Однако и после ухода Олега я почему-то думаю и думаю о Ксении. Почему он и сегодня не пришел? Почему вообще он не приходит, если все в порядке?

Это становится понятным позже, через пять дней, когда вечером ко мне приходит вся бригада. Все, кроме Ксении.

По тому, как тихо ребята входят в комнату, я сразу понимаю, что случилось что-то очень нехорошее. Так входят, когда в доме покойник. Даже тете Кате становится не по себе. Она испуганно глядит на ребят и тихонько садится в угол.

И вот ребята начинают рассказывать. Вернее, рассказывает Михаил Кельба, а остальные добавляют — кто что.

Оказывается, новый дом уже распределили. И комнату мне в нем не дали. Но зато совершенно неожиданно дали комнату Ксении. Вчера вечером, пока ребята были в кино, он собрал свои шмотки и сбежал из общежи-

тия. О том, что Ксене дали комнату и он ушел туда, ребята узнали поздно вечером от коменданта. Сам Ксения им этого не сказал.

Сегодня жена Михаила Кельбы выпросила, как это получилось.

Оказывается, еще давно, сразу же после того, как я сломал ногу. Ксения сказал в постройкоме, что работать на высоте мне больше не придется и что, вероятно, со стройки я вообще уйду. Когда он говорил об этом, он очень жалел, что бригада теряет такого монтажника.

А потом он пришел в постройком в тот день, когда должны были распределять дом, и сказал, что собирается жениться.

Ему полушутя предложили устроить комсомольскую свадьбу. Он так же полушутя, очень скромно отказался от нее и сказал, что может принять только один, самый маленький подарок из тех, которые принято дарить на комсомольских свадьбах, — ключ.

Все, конечно, рассмеялись. И так же смеялись, когда он ушел. И так же, смеясь, решили дать ему ту комнату, которая предназначалась мне. Все равно ведь я на стройке работать больше не буду, а он работает, передовой бригадир и все такое прочее. И Ширков сказал, что он в общем очень доволен таким оборотом дела, потому что обижать монтажников-высотников нельзя, а у меня с ногой очень плохо — он был и видел это сам, — и поэтому рассчитывать на то, что я останусь в бригаде, не стоит.

Когда в обеденный перерыв все это стало известно нашим ребятам, они окружили Ксению и спросили его, в какой день он женится и на ком.

Ксения растерялся, побледнел, потом сказал, что это будет нескоро, но что он обязательно всех пригласит.

— А на ком ты женишься? — снова настойчиво спросил Лешка Шаповалов.

Ксения назвал девочку из ремонтных мастерских, с которой на самом деле дружил и которую ребята знали.

Лешка тут же, даже не отпрашиваясь у Ксении, побежал в ремонтные мастерские.

Когда он вернулся, ребята устанавливали колонну. Лешка кинулся устанавливать ее вместе со всеми. И только потом, когда колонну уже закрепили, он, вытирая пот со лба, рассказал, что девочка эта называет

Ксеню подлецом и не желает о нем слышать, что жениться на ней он никогда не собирался, а теперь, если и захочет, она за него не пойдет. Что уж там у нее с Ксеньей получилось и как, Лешка допытываться не стал. Неудобно, да и некогда.

Говорил он все это при Ксене. Ксения стоял бледный, и ребята старались на него не смотреть. А потом Михаил Кельба сказал то, о чем думали все. Он сказал, что Ксене надо выбирать: либо пусть отдает комнату Генке (то есть мне), либо пусть уматывается из бригады к чертям собачьим.

И Ксения после этого сказал: «Ставьте вот эту балку», — и пошел в контору. Он ушел молча, и никто не знал, зачем. Вернулся он почти через час и, ничего не объясняя, продолжал работать. После работы ребята спросили его, что он решил, а он загадочно улыбнулся, сказал: «Сами узнаете», — и ушел.

И ребята узнали. Они специально пошли в контору. И им сказали, что Ксения подал заявление о переводе в бригаду Андрея Салеева рядовым монтажником.

Тогда ребята пошли в общежитие и собрали в одной комнате монтажников салеевской бригады. И рассказали им все. И салеевские ребята сказали, что они знают Ксеню еще по отношению к Макарову, который честно работает и ведет себя по-божески. Еще они сказали, что им такого, как Ксения, не надо. А парень, который замещает Андрея Салеева, пообещал завтра же доложить о решении бригады начальнику монтажного участка.

Вот, собственно, и все, что они хотели мне рассказать.

Когда Кельба заканчивает свой рассказ, Володька вдруг начинает, размахивая руками, говорить, что устраиваться мне не стоит, потому что в следующем доме бригада мне комнату все равно выколотит, а до июля, когда будет сдаваться этот дом, потерпеть не так уж страшно. Все равно раньше со своей ногой я плясать не смогу, а без пляски — какая же свадьба?

— Да пусть у меня живут! — раздается из угла тети Катин голос. Тетя Катя встает, подходит к столу и говорит: — Вот тут ширмочку можно поставить — и как славно будет!

Она показывает, где можно поставить ширму, и я

вижу, что на самом деле получится неплохо. Конечно, это не своя комната, но жить можно...

Мне остается только смущенно поблагодарить тетю Катю. А Володька, который знает, как раньше тетя Катя относилась к Валюшке, сейчас же расплывается в широкой улыбке и кричит: «Ура тете Кате!» И ребята тихонько, с улыбками, поддерживают: «Ура!»

Тетя Катя сейчас же убегает ставить свой неизменный чай, Лешка Шаповалов выскакивает за ней, потом хлопает выходная дверь, и минут через двадцать Лешка возвращается с бутылками вина и консервами.

— Надеюсь, это больным можно? — Он показывает бутылку с красивой этикеткой и полоской марочного вина у горлышка.

Тетя Катя разглядывает этикетку и ворчливо говорит:

— Ну, красненького-то маленько можно.

Я смотрю на суетящуюся тетю Катю и думаю, что в чем-то она, видимо, была права, когда говорила: не сразу в человеке разберешься. Действительно, не всякий сразу виден. Конечно, не о Валюшке речь. Валюшку я люблю. Но вот в Ксене я все-таки ошибся! И не только я. Все мы в нем ошиблись. Но неужели из-за этого не доверять никому, в каждом видеги потенциального подлеца? По-моему, так и жить-то невозможно. Ни одного друга не будет. Лучше уж ошибаться в немногих, чем подозревать всех!

...Когда на столе все готово и рюмки налиты, в коридоре раздается звонок.

Все замирают. У всех напряженные, ожидающие лица. Я почему-то думаю, что это может быть Ксения. Сейчас он войдет и скажет: «Ребята, простите. Вот ордер на комнату. Давайте перетащим в нее Генку хоть сегодня». И я знаю, что тогда ребята его простят и постараются все забыть. Потому что никому не хочется, чтобы разваливалась наша хорошая бригада. И мне тоже не хочется.

Я вдруг понимаю, что не только я жду сейчас Ксению. Его ждут все. Никому не хочется, чтобы он оставался шкуркой. Дело уже не в комнате. Дело в совести. Комната будет другая, а другой совести не найдешь.

Однако это не Ксения. Это Валюшка. И я даже удивляюсь, как быстро перестраиваются ребята. Они де-

лают вид, будто ждали именно ее, и никого другого, будто только ее и не хватало для всеобщего и полного счастья.

В эту ночь я долго не могу уснуть. Я лежу и думаю о нашей бригаде, о Вальюшке, о Ксене. Я понимаю теперь, почему Ксения перед маем бегал к врачу и смотрел мои рентгеновские снимки. Видно, он уже тогда все взвесил и все рассчитал. Он все делал обдуманно. Он нигде и ни в чем не ошибался.

В книгах часто пишут, что такие вот исправляются от одной душеспасительной беседы с комсоргом или парт-оргом или от столкновения с коллективом. Мы все верили этому и ждали Ксению сегодня вечером. Только, видно, такие не исправляются. Просто они могут понять, что в иных обстоятельствах невыгодно или опасно быть подлецом. И только выгода или страх заставят их вести себя честно. А исправиться... Нет, они уже не могут исправиться!

Я почему-то вспоминаю отчима, его поблескивающую, вытянутую, как яйцо, лысую голову.

Я давно знал, что он наушничает. Раньше он приглашал начальника к себе домой и пересказывал ему все, что говорят о нем сослуживцы. Он делал это «незначай», за рюмкой, притворялся, что он пьян, что он просто «проболтался». Так он вылез в замы. Он пересидел многих начальников. Ему даже самому предлагали стать начальником, но он отказывался. Место зама теплее и безопаснее. Его боялись и ненавидели все подчиненные. Его, кажется, боялись даже начальники, потому что он наушничал и на них.

Я ссорился с ним из-за этого, еще когда учился в школе. Он старался задобрить меня, приносил подарки, называл меня сыночком, щедро давал деньги на кино, на театр, на мороженое. В десятом классе я перестал принимать его подарки и брать у него деньги. Я попросил его не называть меня сыночком. Для него я просто Геннадий.

Мама плакала и спрашивала меня: «За что ты его ненавидишь? Он ведь добрый!» А я спрашивал ее: «Как тебе с ним не противно?»

Когда я не попал в институт и уходил в армию, то

сказал ему на прощанье, что, если он останется доносчиком, я после армии не вернусь домой и никогда в жизни не буду ему помогать. Он прослезился и сказал, что все это в прошлом, что сейчас другие времена и можно, наконец, не защищать себя таким образом.

Я понял, что он просто почувствовал невыгодность своей славы, что он испугался свежего ветра. Черт с ним, я был согласен даже на это! Пусть хотя бы из страха ведет себя порядочно. Мне было наплевать на него. Мне просто было жалко маму и хотелось хоть немного ее уважать.

Когда я приехал домой после демобилизации, он снова сказал мне, что все в далеком прошлом, что сейчас, слава богу, совсем другие времена. А через два дня я нашел в своем письменном столе забытую им записную книжку. Четким, прямым почерком отчима там были сделаны такие записи:

«Ведьмашкин (о Косове). Зажрался, скотина! Окружил себя подхалимами и думает, что он бог. (10. 6. 60)».

«Андреев (о Лагунове). Мерзавец, каких мало! (21. 8. 60)».

«Андреев (о Крицковой). Это не женщина. Это фабрика злости. (3. 9. 60)».

Судя по датам, это были «свежие» записи — незадолго до моей демобилизации.

Я так и не узнал, пустил ли он их в ход, — ведь сейчас все-таки другие времена. Но на всякий случай он их делал. Мало ли что может случиться...

Я швырнул ему эту записную книжку в лицо и уехал к тетке. И сказал маме, что, если она захочет меня видеть, пусть приезжает сама. Я домой не вернусь. Ни за что!..

И вот сейчас я понимаю, что Ксения так же неисправим, как и отчим, что обстоятельства могут только заставить его надеть маску, притвориться, затаиться, но не измениться в душе. И если вдруг изменятся обстоятельства, он эту маску снимет.

И ведь ни Ксению, ни отчима никуда не выгонишь. Они пойдут к коммунизму вместе со всеми и, может быть, даже громче многих других будут выкрикивать разные правильные лозунги. И поэтому обстоятельства должны быть такими, чтобы они не смогли снять свои маски. Чтобы они знали: снимут маску — конец! Пусть

так и живут — в масках! Пусть даже перед детьми своими боятся снять их. Пусть даже ночью с женами они боятся снимать свои маски. Только так могут вымереть на нашей земле эти монстры. Только так они будут лишены возможности породить новых монстров. Другого выхода нет!

Подлецы должны бояться. Бояться быть подлецами. И для этого их нельзя жалеть. Ни в чем! Нигде! Никогда!

Только так. И никак иначе.

6

И вот я снова сижу верхом на балке и, опустив на глаза щиток, свариваю железные пластины закладных частей.

Маленький огонек прыгает и мечется у меня под руками, искры сыплются на землю, и мне почему-то необычно радостно оттого, что я, как бог, управляю огнем и железом.

Я сижу невысоко — на уровне примерно третьего этажа. Выше ребята пока что меня не пускают. Ведь и внизу полно работы. А нога у меня все еще побаливает, хотя я давно хожу без палочки.

Но я уже знаю, что это временно. Неделю назад я работал на втором этаже. Сейчас — на третьем. Еще через неделю я поднимусь на следующую отметку. А месяца через два я снова буду работать на самой верхотуре, как раньше, и никто уже не будет меня одергивать: «Не лезь высоко. Тебе нельзя».

Мне будет можно. Мне все будет можно! Мне будет даже можно танцевать румбу на новоселье, которое я обязательно устрою в своей новой комнате и на которое, как и обещал, приглашу наших геодезисток.

Она будет, эта новая комната. Уже скоро — через три недели. Мы каждый день ходим с Валюшкой на стройку нового дома и отрабатываем там свои часы. Все новоселы отрабатывают положенные часы на этом доме.

Ох, и попляшу же я на новоселье! И за новоселье отпляшусь, и за свадьбу. Ведь на свадьбе я еще не мог плясать. Я мог только осторожно, медленно танцевать танго. И когда мы вышли с Валюшкой на середину комнаты, все почему-то притихли и внимательно смотрели

на нас. А потом я отдышался и с палочкой заковылял на кухню за новой бутылкой холодного шампанского.

Хорошая у нас была свадьба! И тетя Катя хорошая! Просто замечательная у меня тетя Катя! Она прямо со свадьбы уехала в отпуск, в дом отдыха.

Мы провожали ее всей бригадой. И все, конечно, понимали, почему она уезжает именно сегодня. А она плакала и желала нам счастья. И за что-то просила у Валюшки прощения. А Валюшка тоже плакала и просила прощения у нее. Может, просто они слишком много выпили на нашей веселой свадьбе?..

Михаил Кельба что-то кричит мне снизу. Я выключаю электрод, поднимаю щиток, гляжу вниз.

— Иди в контору участка! — кричит Кельба.

— Зачем?

— Там представитель института сидит. Беседует с теми, кто заявления подал.

— Так, может, позже?

— Нет, он просил сейчас.

— Где он?

— В постройкоме.

— Ладно!

Я осторожно начинаю спускаться вниз. Все равно мне надо было сегодня сходить в контору. У меня там есть и производственные дела. Я ведь теперь заместитель бригадира. И Кельба, наш новый бригадир, все конторские дела старается пока поручать мне. Наверно, чтобы я меньше был наверху.

Перед конторой «Стальмонтажа», как всегда, громоздятся горы металлоконструкций. Специальная бригада ведет здесь их укрупнительную сборку и окраску. Мы называем эту бригаду бригадой «старичков». Здесь работают пожилые монтажники, которые когда-то были отчаянными верхолазами, а теперь уже не могут подниматься наверх. Меня тоже хотели после болезни определить в эту бригаду. Я, конечно, отказался.

Многие тогда, наверно, подумали, что это из-за Ксени. Он ведь работает в этой бригаде, потому что салеевские ребята так и не взяли его к себе. Но я отказался совсем не из-за Ксени. Плевать мне на него! Я просто не мог представить себе работу без наших ребят, работу без высоты. Ведь если смолоду не побываешь вволю на высоте, потом всю жизнь себе этого не простишь!

Я прохожу мимо металлических ферм. Вот на одной из них согнулась фигура монтажника в брезентовом комбинезоне. Монтажник ведет сварку, и лица его не видно под опущенным щитком.

Жарко. Очень жаркий был нынче июль. Вот и август уже начался, а жара все не спадает. Наверху еще ничего — там хоть ветерок есть. А внизу под щитком, наверно, совсем задохнуться можно.

Кажется, этому работяге на ферме уже невтерпех. Он выключает электрод и усталым движением поднимает щиток.

И под щитком я вижу залитое потом лицо Ксени.

Он тоже видит меня. Мы на мгновение встречаемся с ним глазами. И он тут же снова опускает щиток и включает электрод.

Я довольно улыбаюсь. Все идет, как надо. Дай бог, чтоб и дальше было так же: чтоб хоть задыхался под своей маской, а снять ее не смел!

Дача в Малаховке

Когда он приходит к нам в дом, он сразу же начинает жаловаться на жизнь, на судьбу, на то, что ему не повезло, потому что он все пытался делать честно, а честным в наш век быть не стоит.

Я слушаю его молча. Я знаю, что спорить с ним бесполезно: все равно останется при своем мнении. Я готов дать ему все, что угодно, только бы ушел. Но ему не нужны ни вещи, ни деньги. Денег у него много. У меня столько наверняка не будет никогда. Ему нужно сочувствие, а как раз этого я ему дать не могу. Мне его ничуть не жалко, хотя этот родной мне по крови человек еле ходит и ни на минуту не расстанется с нитроглицерином.

Он каждый раз вспоминает прошлое. Вспоминает подробно, со вкусом, и при этом безбожно лжет, стараясь показать себя в этих своих воспоминаниях добрым, смелым, благородным.

Ему наверняка хочется хоть немного оправдаться перед самим собой. Ему хочется убедить в своей доброте, в своем благородстве окружающих, оставить по себе добрую память — он уже думает и об этом, годы берут свое.

Вспоминая в нашем доме прошлое, он, видимо, рассчитывает на то, что я немного запомнил. Когда все начиналось, я был маленьким. И ему хочется, чтобы и я, и моя жена, и мой сын поверили ему, пожалели его.

Но, на его беду, у меня очень хорошая память. Я прекрасно помню все, что происходило даже тогда, когда я был маленьким.

Сегодня вся наша родня собралась у дяди Семена на квартире, в тихом Молочном переулке.

У дяди Семена просторно — три большие светлые комнаты. И самая большая, самая светлая — детская. В ней хозяйничают мой двоюродный брат Майк и его сестренка Кирочка.

Кирочка немного моложе Майка, но старше меня. У нее строгие зеленые глаза и длинные каштановые косички, которые мне всегда хочется дернуть. Но я уже знаю, что дергать Кирочку за косички нельзя — за это влетает.

Кирочка всегда все делает правильно, никогда не говорит никаких глупостей, и поэтому мне и всем моим двоюродным братьям и сестрам все время твердят, что Кирочка лучше нас, что с нее надо брать пример.

Я несколько раз честно пытался брать с Кирочки пример, но у меня ничего не получалось. Кирочка помогает своей маме — вытирает посуду, подметает пол. А когда я стал дома вытирать посуду, я сразу разбил стакан и блюдец, и наша домработница Ксения прогнала меня с кухни. Пол я тоже пытался подметать, но мне сказали, что я только поднимаю в квартире пыль, и отобрали у меня щетку. Так я и не смог взять пример с Кирочки.

Но зато брать пример с Майка легко, хотя его все ругают и никто не говорит, что нужно брать пример с него. Майк — большой. Он учится уже в шестом классе, а я еще осенью только собираюсь идти в первый. В отличие от Кирочки, которая учится очень хорошо, Майк учится плохо и хватает много «неудов», за которые ему крепко влетает от отца. Однако, несмотря на эти «неуды», с Майком всегда интересно. У него много рогаток, запаянных трубочек с гвоздями для разбивания капсюлей, много всяких железных деталек, частей от каких-то моторчиков и даже есть сломанный детекторный приемник, который Майк давно ремонтирует и хочет сделать действующим.

Майк всегда что-нибудь выдумывает и приспособливает. Однажды он взял на кухне железный кувшин, выломал из него дно и приспособил как рупор. Рупор из кувшина получился отличный, и Майк долго отдавал

через него разные команды мальчишкам во дворе. А потом Майку почему-то влетело.

В другой раз Майк захотел научиться крутить тарелки на тонкой палочке, как это делают жонглеры в цирке. И опять ему влетело, потому что он разбил две тарелки.

Я тоже пытался что-то приспособивать. Например, из большого блюда, которое все равно стояло без дела в низу буфета, мог бы выйти прекрасный щит. И я его уже почти сделал, обвязав блюдо со всех сторон веревками. Но в последний момент оно почему-то выскользнуло из них и разбилось. А мне влетело, как влетало в таких случаях Майку.

В общем, с Майком мы всегда дружили, хотя он и был намного старше меня и нередко называл меня малышом. А с Кирочкой мне было скучно, хотя она обо мне очень заботилась, всячески опекала меня и никогда малышом не называла.

Сегодня в детской у Майка и Кирочки шумно, весело. Здесь все мои двоюродные братья и сестры и еще одна девочка — Аллочка Жук, которая мне совсем не сестра а просто дочка дяди Семиного друга, но с которой мне почему-то интереснее играть, чем со всеми моими братьями и сестрами.

Аллочка — моя ровесница. Она тоже осенью пойдет в первый класс. У нее черные-пречерные волосы и большие темно-коричневые глаза. Хотя Аллочка и маленькая, она хорошо играет на пианино. Пианино у дяди Семена стоит в спальне. Сам дядя Семен на нем играть не умеет. Но зато на нем играет его жена тетя Оля, играют Майк и Кирочка. Однако сегодня прежде всего просят сыграть Аллочку — она здесь самая маленькая из тех, кто умеет играть на пианино.

И Аллочка играет. Ее маленькие пальчики бегают по клавишам, и пианино, такое большое и черное, слушается ее, маленькую, худенькую девочку, и поет какую-то грустную песню. И Аллочка тоже становится грустной, и ее и без того темные глаза темнеют еще больше.

Мне почему-то становится так невыносимо жалко Аллочку, что я подхожу, целую ее в щеку и глажу ее черные-пречерные волосы. Все взрослые начинают

вдруг смеяться и хлопать в ладоши. А Аллочка краснеет, перестает играть и убегает в детскую.

А потом все взрослые сидят за столом, и мы тоже сидим за столом, только за другим — маленьким. Однако нам за ним не сидится, мы без конца подбегаем к взрослым и утаскиваем с большого стола то одно, то другое.

Дядя Алексей, самый молодой и веселый из всех моих дядей, встает, поднимает рюмку и громко говорит: — Давайте за Семеново изобретение! За то, чтобы он изобретал побольше и жил получше!

И все стучаются рюмками с дядей Семеном и пьют. И дядя Семен сегодня пьет, хотя вообще-то ему пить нельзя, потому что у него язва желудка. Но сегодня дядя Семен такой веселый и нарядный — в новеньких блестящих сапогах и новеньком темно-синем френче, что кажется, будто он совсем здоровый и никакой язвы у него не было и не будет.

Я знаю, что недавно дядя Семен изобрел на своей обувной фабрике какую-то новую, очень важную машину и получил за это очень большую премию. В нашей семье он первый изобретатель, и поэтому все очень рады за него и приехали сюда, чтобы порадоваться вместе.

Мне тоже очень приятно, что у меня есть дядя-изобретатель, и я даже хвалился этим перед ребятами в нашем дворе. И выяснилось, что ни у кого больше дядей-изобретателей нет, только у меня одного. И мне это еще особенно приятно потому, что меня зовут так же, как дядю Семена. Мы с ним тезки. Я все время помню об этом. И дядя Семен помнит. Когда мы встречаемся, он всегда обнимает меня за плечи и весело спрашивает:

— Ну, как живем, тезка?

И я ему всегда тоже весело отвечаю:

— Хорошо живем, тезка!

И вот сейчас, когда все пьют за изобретение дяди Семена, я думаю, что, пока вырасту большой, он, наверно, наизобретает еще много-много разных полезных машин и станет самым главным, самым знаменитым изобретателем. И мне будет еще больше, чем сейчас, приятно, что этот самый главный изобретатель — мой дядя. И тогда все мальчишки в нашем дворе просто лопнут от зависти.

Видимо, об этом думаю не только я, потому что дядя Алексей неожиданно спрашивает:

— А над чем ты работаешь сейчас, Семен? Что у тебя сейчас в задумке?

Я жду, что дядя Семен начнет рассказывать о какой-то новой, невиданной машине, которую он теперь изобретает. Может, даже не об одной, а о нескольких машинах. Страшно интересно, что это будут за машины, что они будут делать.

Но дядя Семен начинает вдруг говорить совсем не о машинах. Оказывается, несколько дней назад он узнал, что дом в Молочном переулке, где мы сейчас находимся, стоит на какой-то красной черте и его будут сносить, чтобы освободить площадь перед Дворцом Советов.

О Дворце Советов, который предложил построить Сталин и который будет самым высоким в мире домом, я уже слышал. Я даже склеил его макет из бумаги, и он стоит у мамы на шкафу. Но я никогда не думал, что из-за Дворца Советов могут снести дом дяди Семена.

— Ну и что? — говорит дядя Алексей. — Когда-то твой дом снесут. — Он пренебрежительно машет рукой. — Может, лет через двадцать! А снесут — получишь другую квартиру.

— В том-то и дело, что другой квартиры сейчас не дают, — грустно возражает дядя Семен. — Дают участок за городом и по две тысячи на душу. Не очень-то развернешься...

— Да что ты сейчас об этом думаешь? — успокаивает его дядя Алексей. — Десять раз все переменится, пока твой дом сносить будут. Дворец Советов построить — это не фунт изюму! Шутить — такая громадина!.. Еще научиться надо. Ты давай изобретай машины. Хорошим изобретателем будешь — тебя не обидят. Найдется тебе в Москве квартира.

— А мне хочется в этом ни от кого не зависеть, — упрямо сузив глаза, говорит дядя Семен. — Надо иметь свой дом, быть в нем хозяином и ни у кого ничего не просить.

— Да брось ты мудрить, Семен! — Дядя Алексей добро, широко улыбается и большой, тяжелой рукой обнимает дядю Семена за плечи. — Ну, подумай сам: зачем тебе свой дом? Что ты — купец? Да и на что ты его построишь? Где столько денег возьмешь?

— Если действовать с головой, — дядя Семен подни-

мает вверх указательный палец, — то можно из этих трех комнат выжать столько, что на небольшой домик хватит. Я уже думал об этом.

— Что-то ты не о том думаешь, — мрачно говорит дядя Алексей. — Ты лучше думай о машинах... Ну, Ольга, — он поворачивается к тете Оле, — у тебя светлая голова! Объясни хоть ты этому путанику, что ему незачем терять время на дом. Это же просто неразумно! Ему нужно заниматься машинами и больше ни о чем не думать!

— Это легко сказать, Леша: «больше ни о чем не думать!» — Тетя Оля как-то невесело улыбается. — Как он может об этом не думать? У нас ведь дети... Нам нельзя оставаться на улице. А сейчас как раз есть премия... Можно что-то начать...

— Я удивляюсь тебе, Ольга! — грустно говорит дядя Алексей. — Пока снесут ваш дом, Майк успеет жениться и уйти от вас. За эти годы Семен стал бы большим человеком, сделал бы много полезного... А так у вас жизнь уйдет зря...

— Никто не знает, когда снесут наш дом, — упрямо говорит дядя Семен. — Может, через десять лет, а может, через год. О Дворце Советов пишут во всех газетах... Поэтому и надо сначала построить свой дом, а потом уже думать о машинах...

Я пытаюсь представить себе, как дядя Семен строит свой дом из красных кирпичей, думаю, что ему одному это будет очень трудно и строить дом он будет очень долго. И потом он может свалиться с крыши, потому что надо ведь строить из кирпичей и трубу тоже... А кто же в это время будет изобретать машины? Другие? Значит, другие станут главными изобретателями, а вовсе не дядя Семен? Что же я тогда скажу мальчишкам с нашего двора?

Я подбегаю к дяде Семену, дергаю его за рукав и громко спрашиваю:

— А как же машины, дядя Семен? Когда же ты теперь будешь их изобретать?

Все почему-то замолкают. Становится очень тихо.

Дядя Семен улыбается, ласково гладит меня по голове и отвечает:

— Вот построю дом, Сема, и буду снова изобретать машины.

Тетя Оля ругает меня. Ругает за дело. Я испортил целую бочку чистой дождевой воды: разрешил ребятам топить в ней новорожденных котят. А тетя Оля собирала эту воду, чтобы мыть голову...

Я понимаю, что тетя Оля ругает меня справедливо. Но я все равно не люблю, когда меня ругают. Чего без толку ругать? Сказала, что нельзя — я в другой раз не буду. Я ведь уже все понял. И вообще, я бы никого не стал ругать из-за какой-то поганой дождевой воды. Подумаешь — вода!.. Велика важность! Как будто нельзя помыть голову водой из колодца...

Я не возражаю тете Оле. Я стою, молчу и разглядываю свои ботинки. Но все равно я обижаюсь на нее. Воды пожалела... Вот возьму и не буду после этого жить у них на даче!

Едва тетя Оля уходит в столовую, как я быстро взбегаю наверх, на второй этаж, где в маленькой комнатке мы живем с Майком, торопливо складываю в чемоданчик те немногие вещи, которые я привез с собой, перекидываю на руку пальто и огородами, чтобы не попасться никому на глаза, выбираюсь на улицу.

Через десять минут я уже поднимаюсь на высокий длинный мост, который проходит над путями для товарных поездов и ведет на станцию Перово. Отсюда до Москвы электричкой — десять минут. А там до дому трамваем. Дорогу я знаю.

Плохо только одно: у меня мало денег. Утром Кира дала мне на мороженое сорок копеек, и, кроме них, у меня ничего нет. Хорошо еще, что я не успел их потратить.

Билет от Перова до Москвы стоит тридцать пять копеек. С пятью копейками я выхожу на Казанском вокзале и сажусь в трамвай, который идет к моему дому. Трамвайный билет стоит всего пятнадцать копеек, но купить я его уже не могу и поэтому сажусь в задний вагон с передней площадки, подальше от кондуктора.

Ехать неприятно. Я впервые в жизни еду зайцем и очень боюсь контролера. В поезде, как назло, контролера не было, и, подъезжая к Москве, я уже жалел, что купил на поезд билет. Лучше было бы купить билет на трамвай.

Мне, конечно, не везет. Контролеры в трамвае ходят

редко, но почему-то именно сейчас, когда у меня нет билета, в трамвай поднимается контролер. Он вежливо спрашивает билеты у всех, в том числе и у меня, я не теряюсь: говорю ему, что мой билет у мамы, а мама — в середине вагона, и, когда он уходит в середину вагона, я выскакиваю на первой же остановке.

Эта остановка называется Каляевской. Отсюда до моего дома не так уж далеко. Ехать на трамвае без билета я уже боюсь и иду домой по Оружейному переулку пешком.

Мама меня совсем даже не ругает за то, что я сам уехал от дяди Семена. Когда я рассказываю ей, как ехал зайцем в трамвае, она замечает:

— Ты зря купил от Перово «взрослый» билет. Тебе надо было купить детский. Тогда бы хватило на все...

— А деньги за все билеты получает государство? — спрашиваю я.

— Конечно, — отвечает мама.

— Тогда ему, наверно, все равно, где бы я их уплатил. Правда, мама?

— Правда! — Мама улыбается и гладит меня по голове. Потом вздыхает. — Все-таки жаль, что ты уехал из Перово. Там как-никак воздух... Ну, да ладно — проживешь три недельки в городе...

Через три недели мы уезжаем с мамой в Анапу, и там я впервые в жизни увижу море.

Вечером, уже после ужина, мама спохватывается:

— Да, там же, наверно, из-за тебя волнуются!.. И, как назло, у них нет телефона... Что же делать?.. — Мама задумчиво смотрит в окно, за которым в тусклом и немного таинственном свете уличного фонаря шелестят широкие листья старого тополя. Потом решает: — Ладно, позвоню завтра утром Ольге на работу!

Но на другой день, очень рано, еще задолго до того, как маме уходить на работу, к нам приезжает тетя Оля. Она какая-то бледная, растерянная, у нее большие, испуганные глаза.

Увидев меня, она глубоко, облегченно вздыхает и опускается на диван.

— Боже! — произносит она. — Я из-за тебя не спала всю ночь! Разве так можно?.. Никого не спросил, ничего не сказал... Ты что, на меня обиделся, что ли?

— Да... — мрачно говорю я.

— Зря, — уже жестко произносит тетя Оля. — На старших нечего обижаться. Их надо слушаться. А сейчас собирай свой багаж. Через часок поедешь в Перово.

— Я не поеду больше к вам, — говорю я.

Тетя Оля удивленно глядит на маму.

— Чего это он?

Мама пожимает плечами.

— Ну, что ж, — сухо, обиженно говорит тетя Оля. — Как хочешь. Через час к тебе заедет Кира с Аллочкой Жук. Аллочка едет к нам, и мы с Кирой договорились, что они заедут за тобой. Скажешь им, что ты останешься... — Тетя Оля поднимается. — А теперь до свидания. Мне пора на работу.

Я быстро соображаю. Раз в Перово едет Аллочка Жук, мне нечего ломаться. С Аллочкой мне всегда очень весело — даже когда мы не смеемся.

— Ладно, я поеду, — глядя в пол, говорю я. — Прости меня, тетя Оля. Я больше не буду топить котят в твоей бочке.

— Так-то оно лучше. — Тетя Оля ласково треплет мои волосы и уходит на работу. Мама провожает ее. Из коридора до меня доносится тети Олин голос: — Семен так ругал меня за него; так ругал — ты себе не представляешь!.. Он за Майка так меня никогда не ругает...

Хлопает выходная дверь. Тихо позвякивает цепочка. Мама возвращается в комнату и начинает застилать постели. Она ничего не говорит, но я понимаю, что она думает о том, какой дядя Семен хороший и как он сильно меня любит, если он даже тетю Олю из-за меня ругал.

Мне хочется сейчас же, сию минуту, сделать для дяди Семена что-то очень важное, очень нужное, очень полезное. Мне уже кажется ничтожно малой помощью дяде Семену то, что я вместе с Майком почти каждый день сгружаю землю с машин на участке в Малаховке и засыпаю там всякие ямы. Мне хочется сделать для дяди Семена что-нибудь более серьезное, например построить ему в Малаховке дом или что-нибудь еще... Но я понимаю, что мне это не под силу, хотя и считаю себя уже большим, потому что перешел в четвертый класс. А хорошо бы, конечно, сделать что-нибудь такое, чтобы все ахнули!.. Может, просто что-нибудь придумать?.. Ну, например, такое, что у дяди Семена вдруг безо всяких денег оказался тес... Он ведь давно говорит, что ему сей-

час тес нужен больше всего на свете, а денег на него нет.

Я начинаю думать, что вот если бы наш управдом Михайлов разрешил сломать деревянный забор, который зачем-то отделяет наш двор от двора, выходящего на улицу Горького, то из забора вышло бы много теса и даже столбов — наверно, машины две. Вот бы привезти эти машины на участок в Малаховке и сказать:

— Бери, дядя Семен, это я тебе привез. В подарок.

А забор этот все равно никому не нужен. Только мешает. Из-за него на улицу Горького приходится бегать через соседний двор.

Едва мама уходит на работу, оставив мне деньги на дорогу и на мороженое, как я бегу в домоуправление и спрашиваю пожилого, седоусого управдома Михайлова:

— Иван Степанович! А нельзя сломать забор в нашем дворе? Он ведь все равно только мешает. А моему дяде очень тес нужен...

Михайлов раскатисто смеется, ничего не отвечая, хлопает меня по плечу и ласково выпроваживает из домоуправления. Я понимаю, что ломать забор почему-то нельзя.

Все время, пока я жду Киру с Аллочкой, я думаю, где бы раздобыть дяде Семену тесу, и ничего не могу придумать, кроме того, чтобы отвезти в Малаховку два деревянных ящика, которые стоят у нас на кухне и из которых, если их разобрать, может выйти немаленькая куча досок.

Мне очень жаль, что я ничего не могу придумать для дяди Семена. Сам бы он на моем месте что-нибудь придумал. Он все время что-то придумывает, потому что, как сказал дядя Алексей, строить дом без денег может только великий выдумщик.

Придумал же, например, дядя Семен обменять свои три комнаты в Молочном переулке на полдома в Перове. Моя мама не понимала вначале, зачем он это делает. Но дядя Семен сам объяснил: комнаты в Москве не продашь, а полдома в Перове продать можно, и дорого. А за деньги можно немало сделать на том участке в Малаховке, который дядя Семен получил нынешней зимой. Кто бы другой до этого додумался?..

А кроме того, дядя Семен придумал еще сделать из амбара, который стоял в Перове, маленький домик в Малаховке. Это тоже было здорово!

Я помню, как в начале лета мы с Майком переносили на огороде низенький заборчик. Это дядя Семен отдал старухе, которая жила во второй половине дома, кусок своего огорода. А старуха за это отдала дяде Семёну свою половину большого бревенчатого амбара, которая ей была совсем не нужна.

Я вначале тоже не понимал, зачем это делается. Но Майк объяснил мне, что амбар можно разобрать, перевезти его на участок в Малаховке и сложить там из него маленький домик. А потом уже строить большой.

— А зачем еще большой дом? — спросил я. — Разве не хватит маленького?

— Папа говорит, что большой дом будет нас кормить, — ответил Майк. — Мы его будем каждое лето сдавать дачникам, и этого нам хватит на жизнь. И маме с папой можно будет не работать...

— А разве им хочется не работать? — Я недоумевающе пожал плечами. — Моя мамка говорит, что она не смогла бы не работать.

— И моя так же говорит, — ответил Майк. — Но папа не хочет, чтобы она работала. Ты же знаешь, у мамы больное сердце. А у папы язва...

— Да... Знаю... А как же машины? — вдруг вспомнил я. — Ведь дядя Семен собирался изобретать машины, когда построит дом!..

Майк почему-то усмехнулся.

— Может, он, конечно, будет опять что-нибудь изобретать. Но сейчас он об этом не думает. Сейчас нам бы маленький домик построить! А там я работать пойду. В крайнем случае, тогда и без большого дома обойдемся... Ну их, дачников!

— А разве ты не в институт пойдешь после школы? — спросил я.

— Сначала в институт. Годик проучусь, присмотрюсь, а потом пойду работать и на вечерний. Так вернее. Отцу помогать надо. Видишь, какое дело он затеял?

Мне тоже кажется, что дядя Семен затеял большое дело, хотя я и не думал, что он будет строить дом в Малаховке для того, чтобы сдавать его дачникам. Мне казалось, что он строит его для себя, для своей семьи. Но в конце концов это не мое дело. Его дом — что хочет, то пусть с ним и делает. Он мой дядя, он меня любит, и я должен ему помогать, как могу.

...И вот я уже снова помогаю ему. Мы с Майком сваливаем с машины землю: засыпаем одну из ям, которых так много на участке дяди Семена. Шофер стоит рядом и курит. Конечно, он мог бы помочь нам, но, видимо, он не хочет, а просить его мы не будем. Наверно, дядя Семен не уплатил ему за это... Сам дядя Семен ушел по каким-то своим делам и сказал, что вернется часа через два. Я знаю, что у него сейчас много забот. Нужно договориться о строительстве забора. Он считает это очень важным и срочным делом.

Наконец, земля сгружена, машина уходит, и мы с Майком растягиваемся на траве отдохнуть.

Майк кусает длинный, тонкий стебелек травинки и смотрит в небо.

— Вообще-то, позаниматься бы надо, — задумчиво говорит он. — У меня на осень переэкзаменовка по истории...

— Ну, вот мы скоро засыпем все ямы, тогда позанимаешься, — говорю я.

— Черта с два! — сердито произносит Майк и, приподнявшись на локтях, красиво сплевывает сквозь зубы далеко в сторону. — Забор с отцом будем делать. А потом амбар перевезем, дом начнем ставить. Работы хватит!

— Но ведь не ты же будешь дом ставить!

— Конечно, не я. Но помогать-то надо! Ведь все приходится делать подешевле, сам понимаешь. У нас теперь вся жизнь этому дому подчинена. Лучше бы уж не брались... Каждую копейку отец учитывает... У Кирки туфли порвались, так сколько шуму было!.. Про себя и маму я уж не говорю. Мы обойдемся...

Я гляжу на худое, веснушчатое лицо Майка, вижу, как в его серых глазах отражается маленькое облачко, и мне почему-то становится жалко брата. Раньше я ему только завидовал: он большой, почти взрослый, перешел уже в десятый класс, он помогает отцу строить дом, а это ведь так интересно! Как игра! Но сейчас я начинаю понимать, что игра эта — очень нелегкая.

Я почему-то думаю о Кире. Она никогда не говорит со мной о строительстве дома. Она ничем не возмущается, ни на что не жалуется. Но я сам вижу, что она одета намного хуже Аллочки, что она только по выходным покупает себе одну порцию мороженого.

Она очень терпелива, очень спокойна. Я еще никогда не видел такой терпеливой и спокойной девчонки, как Кира. Она так заботится о своем отце, как о нем не заботится никто. И все-таки мне кажется, что когда она жила в Молочном переулке, она была веселей и относилась к дяде Семену как-то иначе. Видно, и ей нелегко достается эта дача в Малаховке...

Вечером мы с Майком возвращаемся на электричке в Перово. Кира и Аллочка приготовили нам вкусный ужин. В душевой, которую устроил во дворе Майк, нас ждет подогревшаяся за день вода. Мы с Майком весело моемся, отфыркиваемся, шлепаем друг друга по спине и потом свежие, с еще не высохшими волосами, бежим в столовую.

После ужина Майк уходит к себе наверх заниматься. Кира помогает тете Оле мыть посуду, а мы с Аллочкой выходим в палисадник, садимся рядом на скамейку и долго сидим молча. От усталости у меня ноет спина, болят руки и ноги, но все равно мне очень хорошо, очень приятно, потому что я сейчас отдыхаю, потому что кругом зелень и удивительная тишина, потому что рядом сидит очень красивая девочка Аллочка Жук.

Если бы ребята из нашего класса увидели меня сейчас на скамейке рядом с Аллочкой, они наверняка сказали бы, что я за ней бегаю, и стали бы меня дразнить. Да и сам я, будь здесь наши ребята, ни за что не сидел бы с Аллочкой рядом так спокойно. Я бы обязательно чем-нибудь задел ее, дернул за косы или даже стукнул. Но ребят наших поблизости нет, и мне совсем не хочется обижать Аллочку. Даже наоборот, мне очень хочется сказать ей что-нибудь такое приветливое, хорошее, но я никак не могу придумать, что сказать, и поэтому молчу.

Аллочка начинает говорить первой. Она рассказывает о музыкальной школе, в которой учится, об учителях, о своих подругах. Я тоже начинаю ей рассказывать о нашем классе, о том, как я и мой друг Борька воюем со старостой Женькой Верховым, который без конца бегают жаловаться учительнице и старается перессорить всех ребят в классе. Я так увлекаюсь, что даже не замечаю, как темнеет. Где-то вдаль гремит электричка, и раздается ее протяжный, берущий за ду-

шу гудок. В соседнем доме заводят патефон, и до нас доносятся слова веселой песенки:

Эх, Андрюша,
Нам ли быть в печали?
Не прячь гармонь,
Играй на все лады...

Тетя Оля открывает окно в палисадник и громко говорит:

— Сема, Аллочка, спать пора.

— Мы сейчас, — откликается Аллочка.

Но я чувствую, что уходить ей не хочется, и мне тоже не хочется уходить со скамейки, хотя уже и тянет спать и слипаются глаза.

Я думаю о том, как было бы хорошо, если бы мы с Аллочкой жили в одном доме или в соседних домах, или учились бы в одном классе, или хотя бы в одной школе. Я бы тогда, наверно, не побоялся насмешек ребят и дружил бы с Аллочкой.

Однако она живет в далеком от моего дома Молочном переулке, и увидеть я ее могу только у дяди Семена. И я чувствую что-то вроде благодарности дяде Семену за то, что он подружился с Аллочкиным папой, и за то, что Аллочка гостит у него сейчас в Перово и наверняка будет гостить в Малаховке.

3

И вот снова лето, и снова я живу у дяди Семена, только уже не в Перово, а в Малаховке. Полдома в Перово продано. В Малаховке построен маленький домик, к двери которого ведут три высокие ступеньки без перил.

Нынешним летом мама хотела снимать для меня дачу, но дядя Семен отговорил ее.

Я помню, как еще весной дядя Семен сидел у нас в комнате, курил, жадно, глубоко затягиваясь, маленькие папироски и убеждал маму:

— Ну, зачем тебе снимать где-то у чужих людей дачу, оставлять ребенка с домработницей, волноваться, мотаться взад-вперед? Разве Семе плохо будет у нас? Разве он когда-нибудь на нас обижался?

Дядя Семен перевел на меня взгляд своих усталых

выпуклых глаз и вдруг как-то жалко, заискивающе улынулся.

Я отрицательно помотал головой: нет, я никогда не обижался на дядю Семена. Мне очень хочется к нему на дачу. Я бы стал помогать ему. И потом, может быть, туда приедет Аллочка?..

Мама, наверно, поняла, что мне хочется в Малаховку, и согласилась. И тут же решила отпустить нашу домработницу Ксению на все лето в отпуск.

И едва только она сказала это, как я заметил, что у дяди Семена изменилось лицо. Из какого-то жалкого, просящего оно стало решительным, строгим. На впалых щеках дяди Семена быстро задвигались крупные желваки.

Закурив новую папиросу и отвернувшись к окну, он глухо спросил:

— Ты, наверно, уже... собрала деньги для дачи?

— Да... — ответила мама.

— Не сможешь ли дать их пока мне?... Я бы сделал террасу... А потом рассчитаемся... Свои же люди... Все равно, когда я построю большой дом, все вы будете летом жить у меня...

Мама как-то растерянно, даже испуганно согласилась:

— Да-да, конечно, Сема!.. Я их тебе дам... Если хочешь, прямо сегодня. Вот пойдем, я сниму с книжки и отдам тебе...

— Это было бы хорошо... Я бы начал террасу уже к приезду Семочки...

Я видел тогда, что им обоим как-то неловко — и маме и дяде Семену. И мне тоже было неловко. Я почему-то вспомнил, что говорил мне в прошлом году Майк о дачниках, и мне захотелось рассказать это маме. Но потом я подумал, что тогда она может не отпустить меня в Малаховку, я не увижу Аллочку и вообще все получится очень нехорошо.

И я не сказал маме ничего.

Террасу мы делаем с дядей Семеном вместе. Плотники установили столбы для нее, сделали каркас. А мы настилаем пол, связываем столбы каркаса планками и прибаваем к ним маленькие дощечки «в елочку». Из этих дощечек получается красивая стенка. Стенку дядя Семен делает сам. А я только помогаю ему: отпили-

ваю доски, забиваю гвозди. Пробовал я и строгать, но у меня еще получается плохо, и дядя Семен доски мне не доверяет, строгают их сам.

Нынешним летом, уже после того как я приехал в Малаховку, дядя Семен ушел на пенсию. Перед этим, вечерами, он что-то долго подсчитывал, и через тонкую дощатую стенку я слышал, как он говорил тете Оле:

— Нет, мне положительно невыгодно работать... Если я сам к себе наймусь плотником, я заработаю гораздо больше...

Тетя Оля что-то возражала и уговаривала дядю Семена не уходить с работы.

— Ведь у нас уже есть дом! — несколько раз сердито повторила она. — Чего тебе еще надо?

Но, видно, она его так и не уговорила.

Тогда я еще не понимал, как это можно наняться плотником к самому себе. Постепенно мне это стало ясно.

Каждый день, когда мы уже после ужина, затемно, кончали работу, дядя Семен садился во дворе на скамейку и, как он говорил, «подбивал итог». Нацепив на нос перевязанные ниточкой очки (новые он вынимал только при гостях), он брал из стола пухлую, потрепанную записную книжку, огрызок карандаша и, бормоча себе что-то под нос, писал столбики цифр. Потом торжественно объявлял:

— Сегодня мы с тобой, Семочка, заработали сорок три рубля! А если учесть, что плотника нужно было бы и покормить, то выйдет пятьдесят с гаком. А на работе я каждый день зарабатывал только двадцать семь рублей восемьдесят копеек. Видишь, какая разница?

Я вижу, что разница, конечно, есть. Только мне кажется, что подсчитывать ее совсем незачем. Ну, сделали что-то там, и ладно. Зачем уж все на рубли мерять? И разве здесь, на своей будущей террасе, дядя Семен изобретет какую-нибудь машину? Конечно, нет! А на работе бы изобрел.

Кире в Малаховке нет. Она сразу после экзаменов уехала вожатой в пионерский лагерь.

Дядя Семен просил ее не уезжать, говорил, что на своем участке она заработает гораздо больше. Кира не возражала ему, не спорила, но в лагерь все-таки уехала.

Вообще я заметил, что Кира никогда не спорит с отцом и часто даже одергивает Майку, если он начинает с ним спорить.

— Папу надо беречь! — говорит она в таких случаях.

Дядя Семен довольно улыбается. Ему приятно, что дочка бережет его.

И в то же время я чувствую, что Кира в чем-то не одобряет своего отца, хотя она этого никак не показывает и никому этого не говорит.

Дядя Семен, по-моему, этого не замечает. Он все время советует мне брать с Кире пример и хвалит ее даже сейчас, когда она не послушалась его и уехала в пионерский лагерь.

Иногда нам помогает строить террасу Майк. Нынешним летом он кончает десятый класс, потом будет поступать в институт и поэтому очень много занимается. Но в те дни, когда он утром сдает какой-нибудь экзамен, он больше уже не занимается и делает террасу вместе с нами. В такие дни, как обычно, подбив вечером итог, дядя Семен бывает особенно доволен, потому что мы зарабатываем рублей по восьмидесяти.

Вначале арифметика дяди Семена была мне совершенно безразлична. Потом, постепенно, он увлекает меня ею, и я уже сам начинаю спрашивать: «А сколько стоит эта работа?», «А сколько — эта?»

И дядя Семен обстоятельно, подробно, как взрослому, отвечает мне. Я вижу, что ему нравится, когда я задаю такие вопросы, и поэтому я задаю их все чаще и чаще.

Однажды в выходной день, когда приехала мама, я похвалился ей тем, что вчера мы с дядей Семеном вдвоем заработали целых пятьдесят семь рублей.

— Как это заработали? — не поняла мама.

— Ну, обычно! — говорю я. — Террасу делали.

— Почему же ты говоришь, что заработали?

— Мама, ну как ты не понимаешь? — досадую я. — Если бы плотник сделал ту же работу, которую мы сделали с дядей Семеном, ему пришлось бы заплатить пятьдесят семь рублей.

— Но откуда ты это взял? — Мама спрашивает уже испуганно. — Разве можно свою помощь дяде Семену измерять в рублях?

— Это не я! Это он измеряет! И совсем не мою помощь.... Он считает все вместе...

Мама, видимо, вдруг что-то понимает и закусывает губу. Весь день она со мной не говорит на эту тему и только поздно вечером, когда я провожаю ее на станцию, тихо просит:

— Ты не говори больше никому, сколько вы там работали, сколько сэкономили... Ладно? Это очень... некрасиво.

— А как же дядя Семен?

— Ну... дядя Семен делает это для себя... А тебе совсем незачем. Обещаешь мне?

— Обещаю!

Теперь я и сам начинаю понимать, что это некрасиво, и на другой день, когда дядя Семен садится на свою скамейку подбивать итог, я говорю ему:

— Дядя Семен, а зачем ты все это подсчитываешь? Это ведь некрасиво!

Дядя Семен, сняв перевязанные ниточкой очки, удивленно смотрит на меня большими выпуклыми глазами, а потом начинает раскатисто смеяться.

— Ты еще маленький... Ха-ха-ха! Некрасиво... В хозяйстве счет нужен. А без счета никакого хозяйства нет. Вот вырастешь, поумнеешь, поймешь...

И он снова надевает очки и начинает набрасывать в записной книжке колонки цифр.

По выходным в Малаховку приезжает не только моя мама. Приезжают и другие родственники. Все привозят с собой полные сумки продуктов, вино и иногда даже шоколадные конфеты. С пустыми руками не приезжает никто.

Дядя Семен всегда радуется приезду родных. Он любит их и много говорит об этом и часто повторяет, что, когда он построит большой дом, все родственники летом будут жить у него.

И после того, как он долго и настойчиво говорит об этом, все начинают чувствовать себя чем-то обязанными ему и разбредаются по участку, чтобы что-нибудь сделать, чем-нибудь помочь.

Когда родственники уезжают, дядя Семен переливает в графинчики оставшееся вино, пересчитывает бутылки и на другой день сдает их в магазин. А вином из графинчиков он угощает соседей, которые иногда по

вечерам заходят к нему и у которых он всегда что-нибудь по-соседски просит: пару тесин, пару листов железа, немного dranки.

Раза два в месяц в Малаховку приезжает Аллочка Жук. Она живет на даче в Кратове, по этой же дороге.

Когда Аллочка приезжает, я бросаю все свои дела и иду с ней в лес или на озеро, где через запруду тонкой прозрачной стенкой падает вода. Я рассказываю Аллочке о том, как мы строим террасу и что дядя Семен собирается делать дальше. Я не говорю ей только о том, как по вечерам дядя Семен «подбивает итог». Мне почему-то не хочется, чтобы она это знала.

Аллочка внимательно слушает меня и хвалит дядю Семена.

— Он очень хозяйственный! — серьезно, как старшая, говорит мне она... — Ты учись у него. Это пригодится в жизни. Мне мама всегда говорит, чтобы я у него училась.

Я почему-то сразу вспоминаю, как дядя Семен «подбивает итог», и мне совсем не хочется у него учиться.

Но я не говорю этого Аллочке. Иначе пришлось бы объяснять...

Потом Аллочка рассказывает мне, что она делает у себя в Кратове, и однажды признается:

— С тобой как-то легко разговаривать, Семка. Ты не как другие мальчишки. Другие дразнятся, дерутся... А ты какой-то простой, как будто родной...

Мне хочется сказать Аллочке, что это только с ней я такой простой и не дерусь. Других девчонок я тоже дразню, дергаю за косы и иногда бью. А Аллочку бы не смог... Но вместо всего этого я неожиданно для себя выпаливаю:

— Это потому, что я тебя люблю!

И тут же пугаюсь того, что сказал. Я знаю, что о любви говорят только взрослые, а детям о ней говорить нельзя. Какой-то миг мне кажется, что и Аллочка испугается моих слов и сейчас убежит.

Но она не пугается. Она очень спокойно и рассудительно говорит:

— Я так и думала. Я уже давно замечаю это.

Она подходит ко мне, поднимается на цыпочки, пригибает руками мою голову и целует меня в

лоб. Потом так же серьезно и спокойно добавляет:
— Когда мы вырастем большие, мы поженимся. А сейчас смотри ничего не говори маме. Взрослые за это ругаются.

И она снова целует меня, на этот раз в щеку.

Я тоже хочу поцеловать Аллочку, но не могу пошевелиться. Меня трясет противной мелкой дрожью. Я чувствую, что кончики пальцев у меня просто ледяные. Ощущение такое, будто стоишь на крыше нашего пятиэтажного московского дома, смотришь вниз, на мостовую, и боишься упасть.

Наконец, дрожь утихает, я притягиваю к себе Аллочку за плечи и целую ее в лоб, в щеки и даже осторожно, едва прикасаясь, в губы.

Аллочка краснеет, опускает мне на грудь голову и тихо произносит:

— Я тебя тоже люблю, Семка... Мы ведь уже не маленькие: будем учиться в пятом классе. А семиклассницы, я знаю, всю целуются с мальчишками. А мы будем с тобой, да?..

Я молча киваю.

— Только ты ничего не говори маме! — снова напоминает мне Аллочка.

На другой день всю работу, которую поручает мне дядя Семен, я делаю как-то удивительно легко, прямо играючи. Я пою, свищу, а дядя Семен смотрит на меня удивленно и говорит:

— Ты сегодня что-то в ударе. Как говорится — трудовой энтузиазм...

Я вдруг чувствую, что смогу сегодня сделать все, что угодно, и поэтому прошу:

— Дядя Семен, дай мне построгать хорошую доску. У меня сегодня обязательно получится. Вот увидишь!

И дядя Семен дает мне большую доску. Я строгаю ее двумя разными рубанками, и у меня на самом деле получается все хорошо, гладко, ровно — не хуже, чем у самого дяди Семена.

А вечером, кончив писать свои обычные столбики цифр, дядя Семен торжественно объявляет мне:

— Мы сегодня с тобой заработали семьдесят один рубль. Для двоих — это рекорд!

Но у меня почему-то сразу портится настроение, и я совсем не радуюсь этому рекорду.

Через семь лет я снова живу в Малаховке.

У мамы короткий, как у большинства врачей, отпуск — две недели, и она решила провести его у дяди Семена.

Чтобы ей не было скучно, я поехал с ней, хотя мне в Малаховку ехать очень не хотелось.

Семь лет — большой срок, особенно если в него входит война.

Я знаю, что уже никогда не увижу дядю Алексея, громкий смех которого когда-то раздавался здесь, на этом участке. Дядю Алексея убили при форсировании Днепра.

Все эти семь лет я не видал Майка, потому что еще в сороковом году, не пройдя по конкурсу в институт, он ушел в военное училище и до сих пор в армии. После войны он, правда, приезжал на неделю в отпуск, но я тогда был в колхозе, и мы с ним так и не увиделись.

Дядя Семен говорит, что Майк давно уже хочет демобилизоваться, но его пока не отпускают.

Кира в будущем году оканчивает электромеханический институт. Прошлым летом и я стал студентом.

Тетя Оля и дядя Семен постарели, стали больше болеть. Однако тетя Оля по-прежнему работает, а дядя Семен тоже по-прежнему занят строительством дома и лишь официально, ради продовольственных карточек, числится надомником в какой-то артели и по вечерам вяжет на специальной машине трикотажные рубашки.

Живут они уже в большом доме, в шести громадных пустоватых комнатах. Маленький домик дядя Семен сейчас штукатурит и собирается продавать. Ему нужны деньги, чтобы достроить большой дом, окружить его террасами, отделать второй этаж.

Сейчас я уже большой, и от меня скрывают, что дядя Семен должен много тысяч всем своим родственникам и знакомым. Он был должен и дяде Алексею, и отцу Аллочки Жук, который тоже погиб на фронте. И до сих пор еще дядя Семен не отдал их семьям эти деньги.

Теперь он нередко говорит, что, когда продаст маленький домик, сразу же рассчитается со всеми.

Вообще дядя Семен сейчас говорит и думает только о том, что связано со строительством дома. Я помню, что до войны он читал немало книг, часто ходил в кино, иногда даже из Малаховки ездил с тетей Олей в театр. Сейчас в театр он не ездит совсем, книги ему читать некогда, а в кино он бывает не чаще раза в месяц. Он занимается стройкой и говорит, что в наш век человека на все не хватает.

И не только он занимается стройкой. И тетя Оля и Кира тоже занимаются стройкой и выполняют бесконечные поручения дяди Семена, потому что они ездят в Москву каждый день, а он — очень редко. Вся их жизнь подчинена стройке. Все деньги уходят на бревна, доски и гвозди. Кира никогда не жалуется на это, потому что она вообще не привыкла жаловаться, но я-то вижу, что у нее только два платья и одна пара туфель, в которой она ходит зимой и летом. И у тети Оли тоже только два платья и одна пара туфель. Зато каждый вечер дядя Семен заводит длинные и скучные разговоры о том, как всем станет хорошо, когда большой дом будет достроен.

Ни Кира, ни тетя Оля в этих разговорах участия не принимают. Тетя Оля еще хоть делает вид, что слушает дядю Семена, занимаясь своими делами: приготовляя обед, ужин или что-нибудь штопая. А Кира даже слушать его не хочет. Она тихонько уходит в свою комнату и плотно закрывает дверь.

При мне они ни о чем не спорят с дядей Семеном. Но мне кажется, что они давно уже устали его убеждать, махнули на все рукой и смирились.

Кира не раз говорила мне, что, когда она окончит институт, она не останется в Москве, а обязательно попросит направление куда-нибудь в Сибирь или на Дальний Восток. И я чувствую, что уехать она хочет не только из-за работы, но и потому, что ей очень тяжело жить дома.

Закончив штукатурить маленький домик, дядя Семен приглашает плотников и договаривается с ними о строительстве каркаса для первой террасы большого дома. Всего этих террас должно быть шесть — три на первом этаже и три на втором.

Мне кажется, что шесть террас для одного дома многовато, особенно если учесть, что Майк в армии, а

Кира после защиты диплома собирается уезжать. Однако я молчу, потому что говорить это бесполезно. Дядю Семена не переубедишь. Это давно знают все в нашей семье. Если он что-то вбил себе в голову — обязательно сделает.

Пока плотники работают, мы с дядей Семеном строгаем доски для пола, для стенок террасы. Из маленьких обрезков, которые хранятся в сарае, я начинаю делать первую внутреннюю стенку мезонина. Делаю я ее «под елочку», как когда-то, еще до войны, меня учил дядя Семен.

Вначале я берусь за все это довольно равнодушно, но потом работа увлекает меня, и я делаю ее уже не столько ради дяди Семена, сколько ради собственного удовольствия. Стенка получается красивой, и это радует меня больше всего.

Где-то в глубине души, стараясь не признаваться в этом даже самому себе, я надеюсь, что, пока я в Малаховке, сюда может приехать Аллочка Жук. Правда, вряд ли ее приезд изменит наши отношения, но чем черт не шутит?..

Еще три года назад, вернувшись из эвакуации, я в первую же неделю поехал в Молочный переулок и разыскал там квартиру Аллочки, хотя мне и не приходилось до этого бывать у нее.

Больше всего я боялся, что Аллочки еще нет в Москве, что она еще не вернулась. Это казалось мне самым страшным. Но страшнее оказалось другое. Аллочка была дома. Она сама открыла мне дверь, ахнула, почему-то покраснела и сказала:

— Ну, проходи.

В ее комнате, на низеньком подоконнике, возле раскрытого пианино, сидел юноша — красивый, светловолосый, в новеньком коричневом костюмчике.

Аллочка вошла вместе со мной, протянула: «Знакомь-тесь», — и, представляя меня, добавила:

— Это друг моего детства.

Юноша пренебрежительно оглядел мою старенькую спортивную трубку, неглаженные брюки, едва заметно усмехнулся и протянул мне руку:

— Саша.

— Ну, рассказывай, где ты был, как живешь, — попросила Аллочка.

Я начал рассказывать ей о нашей жизни в Алма-Ате, но быстро понял, что ей это совершенно неинтересно. Она все чаще и чаще смотрела на Сашу, он смотрел на нее, и мне стало ясно, что им нет до меня никакого дела, что я им мешаю.

А мешать людям я не любил.

Через несколько минут я ушел, сказав, что мне нужно торопиться по делу и что вообще я зашел к Аллочке случайно, по пути.

Через полгода я узнал, что отец Аллочки погиб на фронте. Я снова поехал к ней и снова увидел там Сашу. Он вел себя в доме по-хозяйски, успокаивал мать Аллочки, бегал за какими-то покупками. И я решил, что больше мне в этот дом ходить незачем.

После этого я два раза встречал Аллочку в Малаховке, и мы разговаривали с ней очень вежливо, по-дружески, как будто тогда, до войны, у плотины между нами ничего не произошло.

Прошлой осенью я случайно встретил Аллочку в Москве, на улице, и она почему-то никуда не спешила и даже сама предложила проводить меня в магазин подписных изданий, куда спешил я.

Как и обычно, сначала мы говорили о всяких пустяках, а потом Аллочка вдруг стала жаловаться, что ей очень скучно, потому что с Сашей она давно поссорилась и после этой ссоры обнаружила, что у нее совсем нет друзей.

— Это неправда! — возмутился я. — По крайней мере один друг у тебя есть!

— Если этот один — хороший, то это уже очень много...

Аллочка улыбнулась мне так нежно, что у меня перехватило дыхание. Всего несколько минут назад я разговаривал с ней свободно, даже немного небрежно, а тут почувствовал, что не могу выдать из себя ни одного слова. Я только смотрел на нее — красивую, тоненькую, темноглазую, черноволосую — и неудержимо, глупо краснел.

Я прекрасно понимал, что надо сейчас договориться с Аллочкой о встрече, назначить свидание, может, пригласить в театр или на концерт, но почему-то я не мог это сделать и, тупо глядя на асфальт, с трудом выдавил из себя только одно приглашение:

— Приходи ко мне в гости, Аллочка... У меня двадцать четвертого день рождения... Придешь?

Аллочка, склонив голову набок, посмотрела на меня удивленно, даже, пожалуй, немного насмешливо; но согласилась:

— Приду.

И тут же записала в крошечный блокнотик мой адрес.

Уже потом, простившись с ней, я понял: пригласил я ее на день рождения только потому, что боялся, как бы она не отказалась встретиться со мной. А не прийти на день рождения неудобно.

Аллочка пришла и весь вечер была в центре внимания: пела, рассказывала анекдоты, смеялась и тормозила всех. Родственники восхищались ею открыто, по старой памяти. Трое моих друзей глядели на нее во все глаза, наперебой приглашали танцевать и вообще старались не отходить от нее. Я был глупо горд, счастлив, но где-то в душе у меня что-то свербило, потому что Аллочка ничем не выделяла меня среди остальных, а мне почему-то казалось, что я имею больше прав на ее внимание, чем кто-то другой.

Когда она собралась домой, я поехал ее провожать, несмотря на то, что родственники еще оставались и мама смотрела на меня укоряющими глазами.

Мы медленно шли с Аллочкой от метро по тихой Метростроевской, потом свернули к еще более тихому Молочному переулку, прошли по мокрым от дождя и звонким каменным плитам возле старых стен бывшего монастыря. В переулке горели редкие тусклые лампочки.

Аллочка рассказывала о своей жизни, о том, что у мамы после гибели отца плохо с сердцем. Надо бы отправить ее на курорт, но нет денег. Вот когда дядя Семен продаст маленький дом, он отдаст старый долг. Так он обещал. Он должен много. Маме хватило бы этого на три года, чтобы каждый отпуск ездить в Мачесту.

— Это все-таки скотство! — возмутился я. — Знать, что твоя мать больна, и не отдавать деньги... Это скотство! Уж в крайнем случае можно что-нибудь там недостроить, а деньги отдать!..

— Ты зря кипятишься! — Аллочка улыбнулась. —

Все это естественно... Каждый старается устроиться в жизни получше... И это легче всего сделать за счет других... Тут уж кому как удастся...

— Вот это и есть скотство — устраиваться за счет других! — произнес я. — И я не понимаю, почему ты к этому так спокойно относишься!

— Насмотрелась... Привыкла... — ответила Аллочка и замолчала.

Мы долго шли молча, глядя себе под ноги. Потом Аллочка тихо спросила:

— Сема, скажи: ты думал обо мне все эти годы?

— Конечно, думал! Много!..

— И ты вспоминал... Ну, что у нас было?

— Я не забывал об этом ни на один день!

— Правда?

— Правда!

— Знаешь... — Аллочка остановилась, очертила носком черного ботика полукруг по мокрой, стершейся каменной плите. — Знаешь, я тоже этого не забывала... Но как-то вот так все получилось... с этим Сашкой... Ей-богу, я сама ничего не понимаю... Он оказался очень плохим человеком...

— Не надо говорить о нем, — попросил я.

— Хорошо, не буду, — пообещала Аллочка. — Поверь, он никогда больше не будет стоять между нами.

Я поверил. Я вообще был готов поверить тогда всему хорошему. Я был очень счастлив оттого, что Аллочка не забывала меня, оттого, что она со мной. Мне не было дела ни до какого Сашки. Я не хотел знать его.

Мы долго стояли с Аллочкой в подъезде ее дома и перекидывались редкими словами. Мне страшно хотелось ее поцеловать, но я не решался. Мне казалось, что она может обидеться, рассердиться, и тогда мы больше не увидимся.

Поэтому я робко, тихо спросил:

— Аллочка...

— Что?

— Можно... я поцелую тебя?

Аллочка помолчала и вдруг рассмеялась.

— Чудак!.. Конечно, нельзя!

Она хлопнула меня по руке и убежала вверх, крикнув на прощанье:

— Заходи, Сема! Слышишь? Заходи!

— Обязательно зайду, Аллочка! — ответил я.

Я шел по Молочному переулку к метро и пел. Мне казалось, что я самый счастливый человек на земле. Я был уверен, что Аллочка любит меня, что этот несчастный Сашка, действительно, никогда больше не попадется на моем пути.

Однако я ошибся. Саша на моем пути еще попался. Попался в первый же раз, как я поехал в гости к Аллочке.

Когда я подходил к ее дому, Саша вышел из ее подъезда. Вышел не один — с Аллочкой. Они пошли в другую сторону. Они не видели меня. А я их видел. Я видел, как Саша обнял Аллочку за талию, как она прижалась к его плечу.

Значит, они помирились. Значит, мне опять незачем ездить в Молочный переулок...

И вот сейчас, в Малаховке, я жду, не приедет ли Аллочка. Может, она опять поссорилась с Сашей... Все может быть... Но она ведь не приедет ко мне домой сама говорить об этом... И я к ней не поеду. Я могу узнать об этом только в Малаховке.

И, кажется, я ждал не зря. Однажды вечером, приехав с работы, тетя Оля говорит, что встретила маму Аллочки и что в воскресенье они собираются вдвоем приехать в Малаховку. Я с радостью отмечаю про себя, что сегодня пятница, что день уже окончился, осталась суббота, и потом я увижу Аллочку. И буду с ней разговаривать — в первый раз после того, как я провожал ее в свой день рождения. Изменилось ли что-нибудь за это время?

Однако дожидаться Аллочку в Малаховке мне не удается.

В субботу, уже под вечер, выкладывая на мезонине свою «елочку», я слышу во дворе крики, дикую, безобразную ругань. По голосам я улавливаю, что ругаются дядя Семен и плотник Филатыч, который вместе со своим братом делает каркас террасы.

Вначале я не могу понять, из-за чего они кричат, но потом, высунувшись из окна, начинаю понимать. Видимо, Филатыч просил у дяди Семена денег за ту работу, которая уже сделана, а дядя Семен не давал. Я знаю, что у него это твердое правило — не давать плотникам авансов и оплачивать работу только тогда, когда она

полностью закончена. Он много раз говорил об этом и даже учил меня:

— Когда будешь строить свою дачу, не давай плотникам авансов. Возьмут и уйдут. И часть работы не оплачивай: тоже могут уйти на более выгодную. А найди плотников на доделки — нелегко, да и дорого. Все они жулики...

Подобных советов дядя Семен дает мне в последнее время много, но я стараюсь не обижаться на него, не обращать на них внимания. Дядя Семен стареет — что с него возьмешь?.. Я неплохо знаю плотников, которые у него работали за эти годы. Жуликов среди них было только двое. Остальные были обыкновенными рабочими, которым не хватало денег и которые поэтому подрабатывали в отпуск или по вечерам. К тому же я никогда не буду строить себе дачу, потому что она мне совершенно не нужна. Стоит ли мне обижаться на такие советы?

Однако мне очень не нравится, что дядя Семен сейчас ругается с плотником из-за денег. Я вообще считаю, что ругаться с кем бы то ни было из-за денег — унизительно, позорно. Даже если плотник неправ, ему все равно нужно отдать деньги. Ведь он их уже заработал.

Я спускаюсь по стремянке вниз и подхожу к дяде Семену.

Он стоит весь красный, сжав кулаки. Его и без того выпуклые глаза, кажется, готовы совсем выскочить из орбит.

— Ты пьяница! — кричит он в лицо морщинистому, седому Филатычу. — Тебе просто нужно сегодня напиться!

— А ты кулак! Жила чертова! — кричит Филатыч. — У меня старуха больна, мать твою!.. Мне ей сахару вон на толкучке купить надо!

— Врешь! Врешь!

Я быстро становлюсь между ними.

— Дядя Семен, успокойся, — говорю я. — Отдай ему деньги. Какое тебе дело, на что он их потратит? Он же их заработал.

— Вот что он заработал! — кричит дядя Семен и показывает кукиш. — Вот!.. А ты не лезь не в свои дела!

— Дядя Семен, перестань! — Я беру его за плечи,

пытаюсь увести в дом. — Отдай ему деньги! У тебя же сейчас есть!

Но дядя Семен выворачивается из моих рук и снова протягивает Филатычу кукиш.

— Вот что я ему отдам! Вот!

Я вдруг замечаю, что возле калитки стоит почтальон и машет голубоватым листочком. Я догадываюсь, что это телеграмма, бегу к калитке, расписываюсь в тетради у почтальона и читаю на телеграфном бланке фамилию дяди Семена. Ему.

В этот миг я слышу дикий, испуганный мамин крик:

— Сема! Сема!

Я оборачиваюсь. Мама, в ужасе прижав руки к щекам, стоит на крыльце, а в двух шагах от нее, подняв друг на друга топоры, стоят дядя Семен и Филатыч.

Я всовываю телеграмму в карман и бегу к ним. Еще издали я слышу голос дяди Семена:

— ...Ты думал, на интеллигента напал?! Ты думал, я драться не умею?!

— Кулак! — громко хрипит Филатыч. — Кулак чертов!

Я выбиваю у дяди Семена топор. Он хватается за свою ушибленную руку и удивленно смотрит на меня. Я поднимаю топор, отдаю его маме и уже спокойно отбираю топор у Филатыча... Он отдает его неохотно, но все-таки отдает. И ворчит:

— Порубить хотел... Все, что сделал, порубить хотел... Рази для такого кулака стоит работать?..

Я обнимаю Филатыча за плечи, увожу его в сторону и уговариваю:

— Не горячитесь, Филатыч!.. Погодите маленько... Скоро вернется с работы тетя Оля... Она расплатится...

Филатыч недоверчиво, исподлобья смотрит на меня и произносит:

— Ну, ладно! Зайду позднее...

И, ссутулившись, идет к калитке.

Я смотрю на его понурую фигуру, и мне становится невыносимо жалко этого старика. И хотя я знаю, что дядя Семен болен, что он отдал этому несчастному дому в Малаховке почти всю жизнь, мне почему-то совсем не жалко его. Я чувствую, что сейчас мне будет просто противно на него смотреть, противно жить в его доме.

Я долгс стою возле крыльца и думаю. Мне жалко маму. Она могла бы прожить здесь еще целых четыре дня. Но в конце концов есть вещи более важные. Жить здесь больше нельзя. Противно. И приезжать сюда больше незачем.

Я вхожу в дом и решительно говорю маме:

— Собирай вещи! Мы уезжаем в Москву!

— Почему?

Неужели она не понимает? Я удивленно гляжу на маму. Она же всегда понимала такие вещи...

Видимо, взгляд у меня очень выразительный, потому что мама молча начинает собираться. Я тоже молча укладываю свой чемодан и вдруг вспоминаю, что в кармане у меня телеграмма дяде Семену. Я вынимаю ее и стучу в закрытую дверь спальни, куда ушел дядя Семен.

— Дядя Семен, тебе телеграмма.

Из спальни не доносится ни звука. Входить туда мне не хочется. Я кладу телеграмму на туалетный столик так, чтобы она сразу была заметна, и снова говорю закрытой двери спальни:

— Я положил ее возле зеркала.

А потом снова укладываю свой чемодан.

Через полчаса мы с мамой выходим, даже не простившись с дядей Семеном, и уже на улице, в десяти шагах от калитки, встречаем тетю Олю. Она недоуменно смотрит на нас и растерянно опускает на землю сумки.

— Что случилось?

Я коротко рассказываю.

— Хорошо, я провожу вас, — говорит тетя Оля.

Я беру ее сумки, отношу в дом и оставляю на кухне. Я слышу, как за стеной ходит из угла в угол дядя Семен, чиркает спичками и что-то бормочет. Я понимаю, что ему обидно, что он переживает, может быть, даже жалеет. Но мне все равно не хочется его теперь видеть, не хочется с ним говорить.

По дороге к станции тетя Оля жалуется, что с дядей Семеном становится все труднее и труднее, что строительство дома стало уже не его делом, а его болезнью, что он на все в жизни смотрит теперь только с одной точки зрения — выгодно или невыгодно это для строительства дома.

— Проклятый дом... — Тетя Оля вздыхает. — Лучше бы его и не строить... Жили бы до сих пор в Молочном переулке и были бы счастливы.

Я вспоминаю, что когда-то очень давно, еще задолго до войны, почти то же самое говорил мне Майк. Я вспоминаю, каким веселым, простым, ласковым был дядя Семен, когда жил в Молочном переулке. Я гляжу на тетю Олю, которая когда-то казалась мне большой и красивой, а сейчас кажется маленькой, старой и очень усталой женщиной, и мне становится так же невыносимо жалко ее, как совсем недавно было жалко Филатыча. Я вдруг понимаю, что и его, и ее, и самого дядю Семена согнула, преждевременно состарила какая-то страшная, жестокая сила, с которой они не умеют бороться и от которой не могут убежать. И эта сила олицетворяется для меня сейчас почему-то красным, разъяренным лицом дяди Семена и его вытаращенными глазами.

На перроне тетя Оля просит:

— Вы все-таки приезжайте... К нам и так все стали редко ездить...

— Приезжай лучше ты к нам, — отвечаю я. — И ты и Кира... А мы... — Я опускаю глаза. — Не знаю, как мама, а я, наверно, к вам больше не приеду... Мне неприятно...

— Я понимаю. — Тетя Оля вздыхает. — Не ты один. Только ты говоришь, а другие молча... Мне это страшно тяжело... Я привыкла, что у меня всегда много гостей.

Подходит электричка. Уже входя в нее, я вдруг вспоминаю о телеграмме и говорю:

— Тетя Оля, там возле зеркала телеграмма...

— А что в ней? — Тетя Оля глядит на меня испуганно.

— Не знаю. Она вам.

Поезд отходит.

Мы с мамой устраиваемся в полупустом вагоне и долго смотрим в окно.

Я думаю о дяде Семене и понимаю, что мама думает о нем. Потом я спрашиваю у нее:

— Mam, как ты думаешь, почему так получилось? Ведь он же был раньше веселым, добрым...

— Знаешь, — тихо, задумчиво произносит мама, — мне сейчас кажется, это у него с детства... Когда он был маленьким, он хотел играть только своими игрушками. Он не признавал общих... Нас было четверо... Мы старались, чтобы у нас все было общее. Мы бедно жили. На отдельное не хватало. Только он всегда выделял свою долю... Он, знаешь, часто болел. И поэтому ему как-то прощали, уступали. Даже дарили отдельные игрушки. А потом он окреп, но ради игрушек и пряников часто притворялся больным. Мы смеялись над ним... И только! А наверно, надо было не только смеяться...

— Но ведь он же был добрым, мама! — возражаю я. — Я помню, как он был добрым!

— Ему тогда везло, — говорит мама. — Ему долго везло больше, чем всем нам. Потому что он умел ловчить... После гражданской войны мы с папой, и Алексей, и Семен учились в Харькове. Голодно было. Варили суп из картофельных очисток. И вот тогда Семен ушел из института и стал делать дома спички. Мы ругали его, а он смеялся и угощал нас настоящими мясными котлетами. А потом он достал в институте какую-то липовую справку и устроился на должность инженера. Понимаешь, папа поступил в институт на год раньше Семена и все еще был студентом и ходил в тужурке с обтрепанными рукавами. А у Семена был шикарный костюм, он разъезжал на извозчике и называл нас простофилями. Он привык ловчить. Ему все удавалось. Поэтому он и был добрым. Конечно, он не без способностей... Он и в молодости что-то изобретал. Но только ради денег. Он вот и со своим домом все время ловчил. Но сейчас это труднее. Да и годы у него уже не те... Тогда он был молодым, красивым. Ему многое прощали — за анекдоты, за красоту, за то, что он умел выпить... Был нэп. Тогда многие ловчили. На это не обращали внимания. Сейчас другое время. А он как-то не может этого понять...

Мама замолкает и снова задумчиво смотрит в окно на убегающие назад дачи, заборы, станции.

Я тоже смотрю в окно и пытаюсь представить себе дядю Семена молодым, красивым, в хорошем костюме и на извозчике.

Потом я почему-то снова вспоминаю про телеграмму, которую положил возле зеркала, и задаю себе вопрос: что же все-таки в этой телеграмме?

Узнал я об этом не скоро, потому что не ездил в Малаховку и не видел ни тетю Олю, ни Киру. Телеграмма была от Аллочки. Она сообщала, что ее маме очень плохо, что маму подобрали на улице и увезли в больницу на «скорой помощи».

Через неделю ее мать умерла, а я не знал об этом еще очень долго...

5

Я был совершенно уверен в том, что в Малаховку больше не поеду. Однако поехать туда еще пришлось.

Однажды днем, вернувшись из института, я нашел в ручке двери записку: «Сема, приезжай в Малаховку. Убили Киру».

Подписи не было. Почерк был незнакомый, и я решил, что это чья-то неумная шутка.

Я хотел спросить у соседей, кто оставил записку, но соседей не оказалось дома.

Кинув записку на письменный стол, я начал разогревать себе обед.

Уже доедая суп, я подумал, что, если в Малаховке действительно случилось несчастье, кто-нибудь обязательно позвонит маме на работу. Если же мама ничего не знает, на записку можно не обращать внимания.

Через десять минут я уже звонил маме из ближайшего автомата.

— Сема, ты? — Голос у мамы встревоженный. — Ты получил записку?

— Какую записку?

— О том, что случилось в Малаховке... Я звонила в соседнюю квартиру, просила написать тебе... Мне об этом сообщили еще утром.

— Получил, мама. Я сейчас еду в Малаховку.

— Езжай. Я приеду туда прямо с работы. Дождись меня.

— Хорошо.

Я вешаю трубку и почти бегу к метро, как будто от того, насколько быстро я приеду в Малаховку, что-нибудь зависит.

Через полтора часа я уже в Малаховке, у дяди Семена.

Еще проходя по двору, я машинально отмечаю про себя, что готова уже не только первая, но и вторая терраса и что маленький домик огорожен забором. Видно, продан.

В доме много народу. Ходят и сидят какие-то незнакомые люди, наверно, соседи. Холодно, все в пальто. Видно, сегодня не топили. Моя двоюродная сестра Светка, дочка дяди Алексея, закутанная в пушистый платок, из-под которого испуганно глядят на все большие карие глаза, рассказывает мне, что Киру нашли утром на улице, на дороге со станции. Она уже была мертва. Убили ее ночью из нагана. Многие слышали выстрел. Почему убили, непонятно. У нее ничего не взято, даже часы остались на руке, а деньги в сумке. Возвращалась она поздно потому, что было комсомольское собрание в институте, а потом она еще куда-то заезжала по поручениям дяди Семена. Дядя Семен и тетя Оля решили, что она заночевала в Москве, у Алочки, и не волновались. А утром к ним прибежали и сказали...

— А где она сейчас?— спрашиваю я.

— Кто?

— Кира...

Я почему-то не могу сказать иначе.

Светка понимает. В ее глазах появляются слезы.

— В морге. Увезли на вскрытие.

Все это кажется мне диким, невероятным, непонятным. Была война. На ней убивали людей. Это тоже было дико, но, по крайней мере, понятно. Война есть война. А ведь сейчас войны нет! Почему же убивают?! Кто? За что? Разве Кира могла хоть кому-то сделать что-нибудь плохое?..

Я стою у стены и молчу. Все случившееся как-то не переваривается, не укладывается в моей голове.

Тети Оли не видно. Светка говорит, что она лежит в спальне, что ей плохо, и там Светкина мама.

Дядя Семен маячит по всему дому — приходит, уходит, сидит у стола, потом снова ходит из комнаты в комнату и все говорит, говорит, ни к кому не обращаясь.

Я прислушиваюсь и улавливаю, что он говорит о

Кире, о том, какая она была хорошая, послушная, заботливая, о том, как она любила его, отца, и как он любил ее, хорошую, послушную, заботливую. По-моему, он говорит все время одно и то же, и мне начинает казаться, что он сошел с ума.

Светка рассказывает, что утром был следователь, спрашивал, не было ли у Киры или дяди Семена каких-нибудь личных врагов, и дядя Семен, отвечая ему, вспомнил одного молодого плотника, который хотел дядю Семена обмануть, но не смог, и, уходя, пригрозил, что отомстит. Плотник жил на соседней станции, в Краскове.

Почему-то я сразу вспомнил драку дяди Семена с Филатычем и подумал, что, наверно, не плотник хотел обмануть дядю Семена, а наоборот, дядя Семен обманул плотника. Но убивать из-за этого Киру?.. Если это так, я готов своими руками задушить этого плотника...

На другой день я снова приезжаю в Малаховку — на похороны. В столовой стоит гроб, и Кира лежит в нем спокойная, холодная. Я, кажется, впервые за всю жизнь понимаю, что она была очень красивой. Раньше я как-то не замечал этого.

Тетя Оля стоит возле гроба молча и уже не плачет. А дядя Семен все ходит и все говорит, говорит...

Возле стены я замечаю Аллочку, подхожу к ней, и мы здороваемся едва заметным кивком головы. Я тихо спрашиваю, где ее мама, как она себя чувствует. Аллочка очень ровно, бесстрастно говорит:

— Мама умерла. Уже давно. Только очень хорошие друзья не знают этого.

Я неудержимо краснею. У меня такое ощущение, как будто она дала мне пощечину.

На кладбище дядя Семен снова говорит, и снова о том, какая Кира была хорошая, послушная, заботливая. Кончает он тем, что здесь же, рядом с Кирой, похоронят и его, и он вроде с нетерпением будет ждать этого дня.

Мне почему-то противно его слушать, я отворачиваюсь и отхожу в сторону. Мне не нравится, что он так много говорит.

Рядом со мной оказывается Аллочка. По ее взгляду я чувствую, что сейчас она настроена по отношению ко

мне более миролюбиво, чем утром. Она грустно улыбается и тихо произносит:

— Ведь у тебя сегодня день рождения, Сема...

Да, у меня сегодня день рождения. Я как-то совсем забыл об этом. И мама забыла, она даже не поздравила меня утром, как поздравляла всегда. А вот Аллочка помнит...

— Страшные подарки иногда преподносит жизнь... — добавляет Аллочка.

Мы медленно идем с кладбища по грязной, размытой дороге. Начинает моросить противный осенний дождь. Аллочка старается ступать осторожно, чтобы не забрызгать чулки. Прямо из Малаховки ей надо ехать на уроки. Она уже дает уроки музыки и на это живет.

— А разве дядя Семен не отдал тебе долг? — спрашиваю я.

— Немножко отдал. Но очень немножко. Сказал, что на все сейчас не хватает... Вот когда достроит дом, начнет сдавать его дачникам, тогда...

Я вспоминаю, что дядя Семен собирался продать маленький домик не меньше чем за тридцать тысяч, вспоминаю две новые террасы... Да... Тут все ясно...

— А как живет Саша? — решаюсь, наконец, спросить я.

— Не знаю, — равнодушно отзывается Аллочка. — Я давно не видела его.

— Вы снова поссорились?

— Почему «снова»?

— Мне казалось, что тогда... ну, после моего дня рождения, вы помирились...

— Да, ты прав. Но откуда ты узнал?

— Я видел.

— Поэтому ты тогда и не пришел?

— Да.

— А я и не знала, что подумать. Обиделась.

— Зря.

— Может быть. Сейчас это, наверно, уже не имеет значения.

— Почему? Имеет.

— Вот как?

Аллочка искоса взглядывает на меня, озорно улыбается.

Нас догоняет дядя Семен, становится между нами,

берет нас обоих под руку и начинает говорить о Кире, вспоминает, как она играла с нами, когда мы были маленькими, как вытирала нам носы и сажала на горшок.

Я молчу, потому что не помню этого и потому что говорить об этом, мне кажется, совсем не нужно. Я очень любил Киру. Она сделала мне много хорошего. Но я чувствую, что об этом не нужно, нельзя сейчас говорить. Это нужно хранить где-то внутри, для себя. Видимо, Аллочка думает так же, потому что она тоже неловко молчит. Потом она задумчиво произносит:

— Даже не представляю себе: как я сегодня вернусь домой? Одна в четырех стенках... И так-то каждый день с тоски выть хочется... А сегодня просто жутко!

Я думаю о том, что мне нужно сегодня пригласить Аллочку в кино или еще куда-нибудь, чтобы она меньше была дома одна. Она, наверно, не откажется сегодня пойти со мной. Но где добыть денег? Может, снести в букинистический несколько книг?

Пока я думаю об этом, дядя Семен резко поворачивается к Аллочке и говорит:

— А ты переезжай жить к нам! Ведь у нас теперь нет дочки. А у тебя нет родителей. Переезжай. Будешь нам дочкой.

Я испуганно гляжу на Аллочку. Она растеряна. Она явно не знает, что ответить. Это слишком серьезно сказано, чтобы отшутиться. Да и день сегодня такой, что не до шуток.

— Переезжай, Аллочка, — продолжает уговаривать дядя Семен. — Тебе будет хорошо. Ты не пожалеешь. И у Оли будет забота, будут обязанности по отношению к тебе. А то ведь ей будет очень плохо. Я боюсь за нее.

Я вижу, что сейчас дядя Семен говорит искренне. И Аллочка это видит. Она полувопросительно глядит на меня — как бы просит поддержки и совета.

— Ты будешь жить в Кирочкиной комнате, пользоваться всеми ее вещами... — Дядя Семен вдруг начинает надрывно кашлять и туже закутывает шею старым, заштопанным шарфом. — А если тебе тяжело жить в ее комнате, — бери любую другую. Ведь у нас шесть комнат... — Он снова начинает кашлять.

— Но у меня же две комнаты в Москве, — растерянно произносит Аллочка. — Их придется тогда сдать...

— Зачем?! — В голосе дяди Семена не только удив-

ление, но и возмущение. — Кто же в наше время сдает комнаты? Их можно обменять на полдома в Малаховке, с террасой. У тебя будет своя дача. Понимаешь — своя, а не коммунальная. Ты сможешь сдавать ее дачникам...

Мне вдруг становится невыносимо противно. Так противно, что хочется ударить дядю Семена. Я грубо выдергиваю свою руку из его руки и почти кричу Аллочке:

— Не слушай его! Ему нужна не ты! Ему нужны твои комнаты! Он хочет на них заработать! Он на всем хочет заработать!

Аллочка глядит на меня громадными испуганными глазами, как на сумасшедшего, закрывает руками щеки и говорит:

— Сема, что с тобой?! Сема! Это же кошунство!

— Вот увидишь, увидишь, что я прав! — снова кричу я, поворачиваюсь и ухожу назад, в дождь, к станции.

Через неделю ко мне заходит Майк. Всегда он казался мне очень высоким. А сейчас я вижу, что он совсем не так высок — почти одного роста со мной, даже чуть-чуть ниже. На его плечах поблескивают серебристые погоны капитана. У него огрубевшее, обветренное лицо, но на нем еще видны прежние, мальчишеские веснушки. И почему-то то, что они видны, очень радует меня, делает мне Майка ближе, роднее.

Вначале я чувствую себя скованно. Я понимаю, что дядя Семен рассказал Майку о моей выходке в день похорон и что Майка это, конечно, не может радовать.

Однако Майк держит себя так, как будто ничего не произошло, или, по крайней мере, как будто он ничего не знает. И поэтому постепенно моя скованность проходит.

Майк рассказывает, что он провел два дня в Малаховском урзыске, нашел вместе со следователем плотника, который грозил дяде Семену, что этот плотник вначале от всего отказывался, но, когда его приперли к стене, признался: да, он просил одного типа с Малаховской толкучки отомстить дяде Семену, и тип взялся это сделать за четверть водки и еще потому, что он дядю Семена знал и был обманут им на какой-то комбинации с гвоздями. Сейчас плотник сидит, и ищут этого типа.

— Провалиться бы к черту этой толкучке! — с ненавистью говорит Майк. — Вся грязь от нее! И зачем только ее перевели в Малаховку?!

Я вспоминаю, что раньше толкучка была близко от нашего дома, на Тишинском рынке, и тогда в нашем районе тоже убивали, грабили, обкрадывали. А когда убрали толкучку, сразу стало спокойно. Но мне кажется, что в гибели Киры виновата не только толкучка. Я уверен, что ее погубила та темная, мутная, страшная сила, которая заставила Филатыча и дядю Семена схватиться за топоры, которая поставила для меня на одну доску темного, дикого плотника, покупающего убийцу за четверть водки, и интеллигентного, в галстук и белоснежном воротничке, дядю Семена, который подсчитывает, сколько он сам у себя заработал за день.

Мне хочется объяснить все это Майку, но я почему-то чувствую, что объяснять ему сейчас все это не надо, что он это сейчас не поймет, потому что это надо увидеть и пережить самому.

Прощаясь, Майк говорит, что, наверно, он скоро демобилизуется и перевезет свою семью в Малаховку.

После ухода Майка я долго не вижу никого из родственников и не знаю, что происходит в Малаховке. Да, если честно говорить, меня это и не очень интересует.

Зато мне очень хочется увидеть Аллочку Жук. Однако ехать к ней как-то неудобно. Каждый раз, когда я собираюсь это сделать, передо мной встает ее испуганное и, как мне сейчас уже кажется, возмущенное лицо, и я слышу ее голос: «Это же кошунство!»

Я уверен, что, если я приеду, Аллочка будет говорить со мной сухо, вежливо и все время посматривать на часы. И поэтому я не еду к ней долго, месяца два с лишним.

Наконец, уже зимой, я не выдерживаю и отправляюсь в Молочный переулок. Будь что будет! Хоть один раз увидеть ее я должен.

Мне открывает заспанная, непричесанная соседка и лениво говорит, что Аллочки нет, что она живет теперь в Малаховке, а свои комнаты меняет и приезжает только тогда, когда их кто-то хочет посмотреть.

Я понимаю, что дядя Семен оказался сильнее, что он уговорил Аллочку, и молча ухожу. Мне безумно хочется помчаться сейчас в Малаховку, высказать дяде Семену

в лицо все, что я о нем думаю, вырвать студа Аллочку. Но я понимаю, что никто там меня не будет слушать, и Аллочка первая, что я ничего не смогу там изменить, потому что я всего лишь студент и у меня нет возможности как-то помочь Аллочке занять свое место в жизни. И в то же время я боюсь, что та же сила, которая погубила Киру, согнет и сломает Аллочку.

Уже дома я догадываюсь написать ей письмо и отнести его в Молочный переулок. Когда Аллочка придет, пусть прочтет его, пусть приедет ко мне, я постараюсь ей все объяснить, все рассказать.

Я пишу это письмо два дня, везу его в Молочный переулок и подсовываю под дверь Аллочкиной комнаты.

Вначале я жду Аллочку каждый вечер. Но она не приезжает ни через неделю, ни через месяц, ни через три месяца. Она не приезжает совсем.

6

Проходит еще полтора года, и я снова вынужден ехать в Малаховку. Вынужден — потому что не ехать нельзя. Умирает тетя Оля.

Она боится уже давно, у нее уже было два инфаркта, и все знают, что скоро будет третий, и она это знает и просит, чтобы все родные приехали с ней проститься.

Это очень тяжело — приезжать прощаться к человеку, который знает, что скоро умрет. Но, видимо, так нужно. И я еду.

Дом дяди Семена встречает меня сочным запахом распиленного леса, веселым стуком молотков и вжиканьем пил. На доме работает, наверно, не меньше десяти плотников. Еще никогда у дяди Семена работа не шла так весело, с таким размахом. Плотники отделывают последнюю террасу нижнего этажа, стучат в мезонине и на террасах мезонина, стеклят готовые террасы. Уже видно, что дом получился громадный, просторный, шикарный. В ближних кварталах нет ни одного дома, который мог бы сравниться с ним.

Я вижу, что дом красив, но меня не радует эта красота. Я знаю, чего она стоит. Она оплачена жизнью Киры и жизнью тети Оли. Я знаю, что в этом просторном доме было тесно и душно Майку, когда он приехал сюда с семьей после демобилизации. И вот теперь в его

комнате живут дачники, а он снимает частную квартиру в Раменском.

Я знаю уже, откуда у дяди Семена взялись деньги, чтобы нанять плотников. Он «заңял» их у Аллочки, занял после того, как продал часть дома в Краскове, которую Аллочка получила за свои московские комнаты. Аллочка, конечно, не смогла ему отказать. Для нее все это, наверно, было неожиданно. Да и дядя Семен так умеет обволакивать словесами каждый свой шаг, что он кажется шагом ангела. Но ведь я-то знал, что так будет, давно знал! И так же, как я ненавижу дядю Семёна за то, что он сделал это, я ненавижу сейчас себя за то, что не смог помешать ему это сделать.

Когда я вхожу, тетя Оля полулежит в кровати, а дядя Семен сидит рядом и говорит Светке и ее матери, которые приехали раньше меня, как хорошо станет всем нашим родственникам будущим летом, когда дом, наконец, будет закончен.

— Мы здесь будем жить все вместе, — тянет дядя Семен, — одной большой коммуной. И детям будет просторно, и взрослым спокойно. На центральной террасе каждый вечер будем устраивать танцы. И не надо стесняться. Чувствуйте себя как дома. Ты, Светочка, привози сюда своего молодого человека, а ты, Семочка, — свою девушку. Места хватит всем. Всем будет просторно и хорошо. И Кирочка всегда будет с нами. — Дядя Семен кивает на большой портрет Киры на стене. — Она никогда не покидает нас...

Из другой половины дома в этот момент доносится детский плач, затем ругань и хлопанье двери. Это дачники.

Дядя Семен не обращает на это внимания и все говорит, говорит.

Мне становится душно, тошно, как будто я попал на панихиду. Должно быть, у меня резко изменяется лицо, потому что тетя Оля, внимательно поглядев на меня, перебивает дядю Семена и тихо спрашивает:

— Сема, ты, наверно, еще не видал, как отстроился дом?

Я молча мотаю головой.

— Тогда сходи посмотри его. Поднимись на мезонин. Там почти все готово. И очень удобная лестница. А помнишь, как ты лазил по стремянке?

Я киваю. Я помню.

— Сходи-осмотри все. — Тетя Оля слегка улыбается мне. — Тебе это будет интересно. А потом я с тобой поговорю.

Я выхожу и долго осматриваю дом, брожу по участку. Мне не хочется возвращаться в комнату, не хочется слушать и видеть дядю Семена.

Я все жду, что вот-вот увижу где-нибудь Аллочку. Но ее нет. Спрашивать о ней у дяди Семена мне противно, а у тети Оли — почему-то неудобно.

Наконец, я замечаю, что дядя Семен вышел поговорить с плотниками, и иду к тете Оле.

Тетя Оля очень бледна и очень спокойна. Я еще никогда не видел ее такой бледной и такой спокойной.

Она расспрашивает меня об институте, о перспективах работы. Расспрашивает подробно. Мне вначале кажется, что это только вежливость: ведь не может же она всерьез интересоваться моим институтом, когда знает, что скоро умрет. И поэтому я отвечаю коротко. Но потом я понимаю, что она не лицемерит, что ей на самом деле все это интересно. Она спрашивает неторопливо, медленно повторяет некоторые мои ответы, как бы стараясь запомнить их, и у меня создается впечатление, что она копит какие-то сведения, какие-то знания, складывает их в своей памяти, чтобы унести с собой, ибо понимает: это единственное, что можно с собой унести.

От сознания, что она так старательно и спокойно готовится к смерти, мне становится не по себе. Должно быть, тетя Оля и это замечает, потому что она резко меняет тему, улыбаясь, спрашивает, не собираюсь ли я жениться и как вообще у меня «на этом фронте».

Затем она быстро оглядывает комнату. Светкина мать вышла на кухню — готовить ужин. Тетя Оля слегка морщит лоб, как бы отыскивая что-то в уме, и посылает Светку на огород — надо нарвать и очистить к ужину редиски.

Когда Светка уходит, тетя Оля просит меня:

— Сядь поближе, Сема.

Я осторожно присаживаюсь на ее кровать.

— Я хотела кое-что сказать тебе, — вздохнув, произносит тетя Оля. — Я знаю, как ты относишься к своему дядьке. Мне трудно судить тебя, может, ты и прав. Но ты, как и все дети, жесток. Ты забываешь, что он стар и

болен. А об этом нельзя забывать. И нельзя забывать, что он носил тебя на руках, менял тебе пеленки. — Тетя Оля задумывается, и я понимаю, что она сейчас видит меня в пеленках. — Да... Об этом тоже никогда нельзя забывать... Ему еще будет очень плохо, Сема. Очень плохо... Скоро будет!.. Он останется совсем один. Ты даже не можешь представить себе, какая это попытка быть одиноким в его годы. Он будет приезжать к тебе. Не за помощью, а просто чтобы ты ему посочувствовал. Не гони его... Это все, о чем я тебя прошу...

Тетя Оля замолкает, берет мою руку и тихонько сжимает ее.

— Обещаешь?

— Обещаю.

Разве я могу сейчас чего-нибудь не обещать?

На террасе слышны шаги. Входит дядя Семен, садится в кресло и, сложив руки на коленях, снова начинает говорить о том, как всем будет хорошо, как все будут счастливы, когда дача, наконец, будет достроена и тетя Оля выздоровеет...

Через три дня я уезжаю в студенческие лагеря, а когда к осени появляюсь в Москве, тети Оли уже нет. Она похоронена рядом с Кирой, там, где дядя Семен хотел похоронить себя.

Мама рассказывает мне, что дядя Семен живет сейчас один, совсем один. Аллочка поссорилась с ним и уехала на Урал, к своей тетке. Должно быть, в Малаховке произошло что-то очень нехорошее, потому что перед отъездом Аллочка была у Светки, плакала, называла дядю Семена мерзавцем и говорила, что я был прав, когда предупреждал ее. Уехала она почти без денег. Даже на дорогу ей пришлось занимать у Светкиной матери.

Все это меня уже не удивляет...

Через месяц я узнаю, что дядя Семен объезжает родственников и знакомит их со своей новой женой. Молодой. Красивой. Жена очаровательно улыбается и приглашает всех летом в Малаховку. И дядя Семен приглашает.

К нам с мамой они не приезжают. Только к нам. Я очень рад этому.

А еще через месяц мама говорит, что дядя Семен звонил ей на работу и прощался. Он продал дом и уезжает

во Фрунзе. Он сказал, что денег у него теперь очень много, хватит до самой смерти и что вообще он уже может жить только на свою пенсию и на проценты. Так и сказал: жить на проценты. Как рантье!

Несколько лет его не было видно. Изредка, раза два в год, к нам заезжал Майк и рассказывал, что дядя Семен живет неплохо, что у него свой домик, сад и никаких обязанностей. Процентов ему на жизнь хватает.

Я вспоминал цену этих процентов, и мне становилось тошно.

Радовало меня только то, что он далеко, что я его, наверно, никогда больше не увижу и мне не придется слерживать обещание, данное тете Оле.

Но в последнее время он вдруг стал появляться в Москве. Часто. И с женой. По-прежнему молодой, по-прежнему красивой. Но уже издерганной и злой.

Когда я вижу их вместе, мне кажется, что они ненавидят друг друга. Я догадываюсь, почему это. Она ждет и злится, что ждать приходится долго, что годы уходят. А он понимает, чего она ждет.

Мне не жалко их. Я только не понимаю, зачем они так часто приезжают в Москву, зачем дядя Семен каждый раз ездит в Малаховку, смотрит на свой дом и ходит на кладбище.

Светка говорит, что это бывает, что преступника часто тянет на то место, где он совершил преступление.

Она тоже не любит их и тоже, как и я, старается уйти из дома, когда они приходят в гости. И, кажется, все наши родные стараются это делать.

Дядя Семен, конечно, видит это. Он, конечно, все понимает. Но почему-то ходит и ходит в гости, как бы стараясь вымолить себе прощение. Кто же может простить его, если не мы?..

Совсем недавно я случайно попал в Молочный переулок. Там сейчас все чистенько, заасфальтировано. Домик, в котором когда-то жил дядя Семен, все еще стоит. Его обшили тесом, покрасили, и он кажется новеньким и веселым. В его заросшем густой зеленью дворе играют дети. Конечно, я наверняка ошибся, но почему-то мне показалось, что две девочки, которые играли в этом дворе, были удивительно похожи на школьницу Киру и крошечную пианистку из детского садика — Аллочку Жук...

Содержание

- 3. Девушка моего друга.
- 38. В понедельник утром...
- 61. Вкус своего хлеба.
- 82. Медленный вальс.
- 89. Дорога туда и обратно.
- 109. «История без Маргарит не обходится».
- 115. Встреча в метро в часы «пик».
- 121. «А откуда у вас сливочное масло?»
- 127. Ксения и я.
- 154. Дача в Малаховке.

Давыдов И.
Девушка моего друга. Рассказы.
Саратов, Приволжск. кн. изд., 1965.
200 с.

P2

Исай Давыдов

ДЕВУШКА МОЕГО ДРУГА

Редактор В. А. Коркина
Художник Е. А. Жуков
Художественный редактор П. И. Карчевский
Технический редактор А. Т. Мокроусова
Корректоры: И. А. Горшенина,
Г. А. Прыгушина.

НГ53114. Сдано в набор 31/XII 1964 г.
Подп. к печ. 27/III 1965 г. Бумага 84×108 1/32.
Бум. л. 3,125. Печ. л. 10,25. Уч.-изд. л. 10,522.
Тираж 65 000. (I завод 50 000). Цена 32 коп.
Переплет 10 коп.

Приволжское книжное издательство. Саратов,
Вольская, 81.
Типография № 1 Областного управления
по печати. Заказ 203.

**В ПРИВОЛЖСКОМ
КНИЖНОМ ИЗДАТЕЛЬСТВЕ**

**вышли из печати
следующие книги:**

Боровиков Г. Ф. Сиреневый край.
Очерки. 6 л. 18 коп.

Катков Н. И. Жертва Аполлона. 5 л.
16 коп.

Сафронов В. Н. Не поверил. 4 л.
14 коп.

Подгорнов В. М. Тропинки в волшебный мир. 18 л. 75 коп.

Бажов П. П. Каменный цветок. 2 л.
25 коп.

Ширяева Г. Д. Девочка из легенды.
12 л. 50 коп.

42 к.

ПРИВОЛЖСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
САРАТОВ 1965